**Э.Н.УИЛСОН**

**ЛЕВ ТОЛСТОЙ**

Когда речь заходит о России, первое, что поражает иностранца, — это необъятные просторы этой страны. С детства нам известно, что Советский Союз, как и Россия во времена правления Екатерины Великой, занимал около одной шестой части суши. Лишь немногие могут похвастаться личным ощущением необъятности этой страны, путешествуя по её просторам. Если проехать по маршруту Наполеона из Варшавы в Москву — на поезде ли, или в автомобиле — путь покажется нам бесконечным и утомительным, проходящим через монотонные равнины. И всё же, этот отрезок, как легко увидеть на карте, является лишь крошечной частью этой удивительной земли, которая по разным историческим причинам сложилась в единую политическую общность.

Отцом современной России по праву называют Петра Великого. Однако именно немецкая принцесса Екатерина Великая, императрица, правившая Россией с 1762 по 1796 годы, добилась того, чем стала Россия в последующем столетии. Взгляд Екатерины на управление Россией носил отпечаток её чужеземного происхождения. Она считала Россию огромной державой и с маниакальной настойчивостью стремилась сделать её ещё больше. Именно при ней Польша и южные территории до самого Чёрного моря отошли к России, и границы этого могучего государства приняли очертания, близкие к тем, которые мы знаем сегодня. Тем не менее, в Екатерине жила невежественная тревога, что огромные размеры России могут сделать её неуправляемой.

«Какой же интерес могла питать молодая немецкая принцесса к этому magnum ignotum (“великому неизведанному”), к этому подразумеваемому народу, нищему, полудикому, скрывавшемуся в своих деревнях за снежными сугробами и дрянными дорогами и имевшему вид чужеземного парии на петербургских улицах — с бородой, за которую преследовали, в запрещенной одежде — и терпимому из одного лишь презрения к нему?»— однажды задался этим вопросом Александр Герцен, первый, если не самый великий российский радикал, столкнувшись с бюрократией, корни которой уходят в эпоху Петра Великого и Екатерины Великой, с той самой бюрократией, которая к девятнадцатому веку, словно спрут, распростёрла свои щупальца по всей России.

К концу восемнадцатого века свобода и самоуправление стали политическими идеалами Запада. Соединённые Штаты отказались от монархических и колониальных устоев Британской короны и обрели независимость. В результате бурных революций на свет появилась французская буржуазия — могильщик монархо-аристократической общественной формации. Екатерина Великая, которая проявляла живой интерес к идеям эпохи Просвещения и состояла в переписке с их авторами, оставила России совершенно противоположное наследие. С присущей ей скрупулёзностью она выстроила систему правления, реформирование которой в будущем стало почти нерешаемой задачей.

Физическая экспансия России сопровождалась двумя важными факторами, которые оставили неизгладимый след в её истории. Первый из них — это распространение крепостного права. На Украине, где крестьяне ранее были свободны, Екатерина утвердила правовую систему, согласно которой крестьяне не могли покидать своё поместье без разрешения помещиков, что фактически превращало их в собственность последних. Несмотря на различные оценки, к концу правления Екатерины более половины населения Российской империи находилось в крепостной зависимости, по своему положению практически сравнимой с рабством чернокожих в Америке.

Одновременно с распространением крепостного права росло и укреплялось дворянство. В то время как в других европейских странах статус аристократа всё больше терял политическую силу и принимал символическe форму, в России дворянство сохраняло и приумножало свою политическую власть. В Великобритании, например, герцог мог быть богатым, но не обладать политическим влиянием. К середине викторианской эпохи политическая власть аристократии значительно ослабла. В России же подобное было немыслимо: Екатерина учредила строго вертикальную иерархическую систему, где власть находилась в руках аристократии. Дворянство имело привилегии: освобождение от налогов и телесных наказаний, право дворян получать высшее образование и занимать государственные должности.

Между дворянами и крепостными Екатерина Великая разместила городской купеческий класс, выделив его в отдельное сословие и наделив его особыми привилегиями и обязанностями. После её смерти в 1796 году императрица оставила России перегруженный бюрократический аппарат, который обеспечивал контроль над каждым гражданином и организацией. Как в произведениях Гоголя, эта система, разрастаясь, становилась столь неповоротливой, что реформировать её без полного разрушения было практически невозможно. Именно поэтому монархия в XIX веке всеми силами сопротивлялась реформам, опасаясь, что даже малейшие изменения могли бы привести к её краху.

Любопытно, что Екатерина и её окружение, хоть и были современными в своих религиозных взглядах, создали теократическое государство, в котором Русская православная церковь стала важным инструментом государственной власти. Императрица изъяла земли у церкви и утверждала, что церковь должна быть подчинена государству. Светские органы власти назначали священников, контролировали религиозные вопросы и занимались пропагандой догматов. Даже Прокуратор Святейшего Синода был светским чиновником, наделённым правом вмешиваться в церковные дела, что подчёркивало подчинённое положение церкви по отношению к государству.

Странно, но Екатерина, не имевшая русских корней, проводила политику, изолировавшую Россию от остального мира. Русские подданные не могли свободно путешествовать даже по собственной стране, не говоря уже о заграничных поездках или доступе к иностранной литературе.

Тем не менее, ветер перемен проникал и в Россию во многом благодаря Наполеоновским войнам. Русские войска проходили через Польшу, Германию, Францию и Австрию, и во время этих кампаний влияние российского государства на умы своих граждан ослабевало. Во время войн на троне властвовал Александр I, человек относительно либеральных взглядов. Даже если бы он и не поддерживал либерализм, русские солдаты, сталкиваясь с иностранцами и интересуясь их образом жизни, не могли не начать задаваться вопросами. Французские пленные рассказывали русским воинам о своей стране, где все люди равны. Англичане делились знаниями о конституционной монархии и избираемых законодательных органах. Проходя по европейским деревням, русские солдаты видели освобождённых от крепостного права крестьян, которые, хотя и не были богаты, считали крепостничество пережитком тёмного прошлого.

В начале девятнадцатого века русские внезапно осознали с досадой не только свою политическую, но и культурную отсталость. Первые два десятилетия XIX века одарили мер множеством гениев в Европе. В эту пору творил великий Шиллер, удивлял мир своими произведениями Гёте, Ламартин опубликовал сборник «Поэтические раздумья», Россини ставил свои шедевры на сценах оперных театров, а Вальтер Скотт писал свои увлекательные романы. Лирика Байрона и Шелли завоёвывала сердца, и на фоне этого литературного расцвета Россия казалась всего лишь культурной провинцией.

Появление великих русских писателей девятнадцатого века можно сравнить в истории мировой литературы с появлением английских поэтов в эпоху правления королевы Елизаветы I. Никто не ожидал такого внезапного расцвета: на литературной сцене появились Лермонтов, Гоголь, Белинский и Грибоедов. И, безусловно, превыше всех — Александр Пушкин, чей короткий, но выдающийся жизненный путь (1799-1837) оставил неизгладимый след. Возможно, Пушкин был самым разносторонним и талантливым поэтом мирового масштаба. Он преобразил не только русскую литературу, но и саму Россию, доказав, что можно быть умным, трогательным, остроумным и изобретательным, не полагаясь на французский язык. Он показал, что можно быть подлинно русским и при этом противостоять жестокости и абсурдности российского правления.

Пушкин превосходил Гёте и Скотта своей способностью легко переходить от одной литературной формы к другой и без особых усилий преобразовывать их. Он был настоящим Моцартом литературы. Нежный лирик, острый сатирик, великий драматург и мастер короткого рассказа, Пушкин подарил миру роман в стихах «Евгений Онегин». Все его последователи, какими бы литературными экспериментами они ни занимались, неизбежно шли по стопам Пушкина. Он был убит на дуэли в 1837 году, и эта дуэль, пожалуй, остаётся одной из самых больших трагедий в истории мировой литературы. Кто знает, какие шедевры остались утраченными в результате столь нелепой смерти.

После Пушкина появилось множество замечательных поэтов и целая плеяда русских писателей. Среди них выделялся один, которого можно по праву назвать величайшим писателем мира. А если учесть объём и монументальность его трудов, он даже превосходит самого Пушкина. Его труды заполнили девяносто томов русской библиотеки. Это был граф Лев Николаевич Толстой.

Толстой был порождением той самой России, которую мы пытались описать в начале этой книги. Он вряд ли смог бы написать и пережить все свои произведения, если бы не родился в то самое время, в том самом месте и в том самом сословии. Толстой родился 28 августа 1828 года и умер 7 ноября 1910 года. Хотя многие русские писатели были дворянами (что неудивительно, ведь только дворяне могли получить достойное образование и иметь достаточно свободного времени для писательства), Толстой выделялся даже среди них своей принадлежностью к самому высокому графскому роду. Его предки были из древнего феодального класса, который не просто участвовал в местном управлении, но и заседал в судах, стоял у трона государя.

Ранняя смерть родителей и относительная бедность Толстого привели к тому, что он никогда не использовал свои привилегии придворного, дипломата или высшего военачальника. Высший аристократический статус давал ему лишь свободу, которой мог насладиться любой писатель в тот период во Франции или Соединённых Штатах. Но быть свободным человеком в стране, где все остальные порабощены, придаёт этой свободе несколько странный оттенок. Толстой никогда до конца не осознавал свою привилегированность. Он, возможно, так и не понял, насколько сильно его положение отличалось от положения других писателей, не говоря уже о купечестве или крепостных крестьянах. Тем не менее, он проводил большую часть времени среди крестьян, редко посещая светские мероприятия. Толстой участвовал в Крымской войне и дважды выезжал за границу, посетив Италию, Францию, Германию и Англию. Однако даже в России он редко путешествовал, ненавидя интеллектуалов Санкт-Петербурга и презирая богатые дома Москвы. К середине своей жизни Толстой практически не имел друзей вне семьи и большую часть времени проводил в своём поместье, расположенном в 130 милях от Москвы.

Его изоляция и привилегированность объясняют, отчасти, почему во второй половине своей жизни он стал столь яростным критиком правительства. В последние десятилетия жизни Толстого казалось, что он был единственным, кого российские власти не осмеливались заглушить. В то время как революционеров-социалистов казнили или ссылали, церковных диссидентов отправляли в Сибирь, Толстой безнаказанно критиковал армию, социальное неравенство и бедность. Хотя он подвергался цензуре, его продолжали печатать, пока правительство не осмеливалось его убить. Его идеи пацифизма, вегетарианства, проповедь чтения Евангелия и самопошива одежды привлекли немногих, но он выступал за нечто большее. Толстой вселял веру в возможность человеческой свободы и достоинства перед лицом безликой бюрократической тирании. Поэтому, когда он умер, по всей России вспыхнули демонстрации, студенты восстали, а тысячи людей проводили его в последний путь. После смерти Толстого Россия стала искать более радикальные решения своих проблем.

Но главной причиной, почему правительство оставляло Толстого в покое, было почтение русских к его литературному гению. А там, где есть почтение, возникают подозрения и страх у властей. В России слово обладает огромной силой, и именно поэтому его носители часто заканчивают жизнь за решёткой или в ссылке.

В Толстом правители и их сторонники видели непреодолимую фигуру, литературный монумент такой величины, который невозможно было разрушить. Он начинал свою творческую карьеру осторожно, с небольших полуавтобиографических зарисовок из детства, рассказов, основанных на опыте армейской службы и впечатлениях от осады Севастополя. Его современники, такие как Тургенев, Достоевский, Фет и Некрасов, быстро признали в нём великого реалиста. Но ничто не предвещало появление двух великих шедевров — «Войны и мира» и «Анны Карениной». В своём последнем романе Толстой описал одну из величайших историй любви, а «Война и мир» предстала как ещё более грандиозное произведение. Этот роман был результатом личных предубеждений и фантазий Толстого о его семье. Когда мир увидел первые фрагменты его романа, стало ясно, что Толстой создал нечто большее, чем ожидали его читатели. Он подарил русским национальную эпопею, отражающую их стремления и надежды. Это произведение стало одним из величайших литературных памятников мира, прославившимся точностью изображений, глубиной чувств и эмоций, а также насыщенным и ярким содержанием.

Жизнь Толстого полна противоречий и загадок. Парадоксы его личности бесчисленны. Например, этот великий русский писатель находился под сильным влиянием английских и французских романистов. Его религиозные взгляды зачастую были ближе к идеям американских квакеров и французских рационалистов, чем к учению Русской православной церкви. Однако Толстой считал, что должен говорить с народом, используя подлинный голос русского крестьянина. Многие отвергали его поздние работы, в которых он защищал идеи политического анархизма и, например, резко критиковал Шекспира. Другие, напротив, были вдохновлены христианской простотой его трудов, но обнаруживали в биографиях писателя, что пророк мира жил в атмосфере домашней ненависти, возможно, беспрецедентной в истории семейных отношений.

Несмотря на эти парадоксы и противоречия, масштаб личности Толстого невозможно приуменьшить. Русский художник Илья Репин оставил несколько портретов великого писателя. Он говорил о нравственном величии и гипнотическом духовном присутствии Толстого. «Часто спустя день или два после беседы с ним, когда твой ум начинает работать самостоятельно, осознаёшь, что с его взглядами трудно согласиться, что некоторые мысли, казавшиеся такими ясными и неоспоримыми, теперь кажутся невероятными и даже трудно воспроизводимыми; что некоторые его теории приводят к противоположным выводам, но во время разговора этого не замечаешь», — писал Репин о Толстом. Однако, несмотря на это, Репин воспринимал Толстого как гиганта. Однажды, когда они ехали верхом через лес рядом с домом графа, Репин увидел в Толстом «рафаэлевского бога из видений Иезекииля, с раздвоенной бородой, грацией и ловкостью, с какой-то особой лёгкостью и весельем, лавирующего между ветвями». Его жизнерадостность и весёлость казались почти божественными, и в присутствии такой фигуры невозможно было не испытывать благоговения. Если уменьшить портрет, не прибегая к приукрашиванию, как это делал Репин на холсте, он должен быть нарисован без малейшего чувства величия — просто с глубоким уважением к человеку, столь сложному и великому.

**ГЛАВА 1**

**ИСТОКИ**

1828-1841

*Бывало, нами дорожили,*

*Бывало…*

А.С. Пушкин. «Моя родословная»

Шли и шли, и пели «Вечную память»… Жизнь Толстого, как и «Доктор Живаго», начинается с похорон женщины - мать Толстого скончалась 4 августа 1830 года, он был слишком мал, чтобы помнить ее. Он родился 28 августа 1828 года и потерял мать в два года. Он никогда не помнил ее лица, не осталось ни одного портрета этой женщины. Оба этих факта сыграют весомую роль в жизни Толстого[[1]](#footnote-1).

Мать звали Марией Николаевной Волконской или просто Марией. Родилась она в 1790 году, была единственным ребенком в семье весьма причудливого, вспыльчивого князя Николая Волконского, который в пору рождения своей дочери был весьма видным деятелем, служившим Екатерине Великой. Волконские были древней фамилией, исходившие от Рюриков. Род Волконских считался более древним родом, чем Романовы, а князь Николай Сергеевич имел воинские отличия, чем еще более обогощал свое славное наследие. Он добился известности в турецкой кампании 1780 года, а в 1793 году успешная воинская карьера сменилась на снисходительную жизнь дипломата. В 1793 году его назначили русском послом в Берлине. Князь Николай был человеком прямолинейным, никто не мог его обвинить в угодничестве царским хозяевам. Когда Екатерина предложила ему жениться на племяннице (возлюбленной) ее сурового фаворита Потемкина, Волконский прямо ответил: «С чего он взял, что я женюсь на его шлюхе?» Со смертью Екатерины Великой в 1796 году карьера князя Николая подошла к концу. За Екатериной последовал буйный император Павел, который сразу уволил князя Волконского за то, что он не явился на смотр.

Павел, который считал, что все придворные плетут против него заговор, имел параноидальную черту возбуждать в себе ненависть к старым друзьям и фаворитам, независимо от того, где они служили, при дворе или на стезе дипломатии. Примером военной мудрости Павла является идея направить в январе 1801 года двадцать тысяч казаков маршем из Оренбурга в Индию для сражения с британскими колонизаторами. Несколько месяцев спустя после этого замысла Павла задушили высшие армейские чины, и на трон взошел его сын Александр I. К тому времени на протяжении нескольких лет князь Николай Волконский вел жизнь в отставке, подобно дяде Евгения Онегина, который «лет сорок с ключницей бранился, в окно смотрел и мух давил».

Мать Толстого потеряла свою мать в два года. Когда князь Волконский уволился из армии и приехал в свое поместье в ста тридцати милях к югу от Москвы, он посвятил себя образованию юной дочери. На тот период ей было семь лет. Настоящий последователь Екатерины, сын эпохи Просвещения князь Волконский в отличие от своего внука верил в образование женщин и в превосходство европейской культуры над русским. Отец и дочь говорили дома на французском. Он научил ее немецкому и итальянскому языкам, она имела нехилые познания в музыке и истории. Они вместе читали Руссо, произведения французский энциклопедистов. Как подобает бывшему послу, которому император Павел еще до отставки пожаловал звание генерала, князь Волконский имел право содержать двух вооруженных охранников. Эти охранники стояли наподобие оловянных солдатиков, созвучно фантазиям дяди Тоби Тристрама Шенди, на башенках, расположенных по обе стороны от входных ворот в поместье Ясной Поляны. Жизнь в большом доме все больше отдаляла обитателей от мира, от общественных событий. Ясная Поляна имела важное значение в жизни князя Николая в восемнадцатом веке.

Если путешественник в наши дни забредет в Ясную Поляну, он найдет ее очаровательным уголком. В действительности, один из представителей рода Толстых так описывал Ясную Поляну в своей книге: немалая толика привлекательности Ясной Поляны, по крайней мере для отечественных посетителей, заключена в уединенном физическом воплощении в Советском государстве старого барского образа жизни, который сохранился благодаря тому, что Толстой был не только великим писателем, но также унаследователем аристократического поместья».

Взору современного посетителя предстанет череда белых зданий, построенных в колониальном стиле архитектуры, которых можно видеть в Каролине или Вирджинии. Все это построено на красиво посаженной, слегка холмистой сельской местности. Село, где крестьяне Толстого боролись за свое существование, все еще живет. Даже сегодня, когда все поместье ориентировано на туристов, он все равно кажется отдаленным и примитивным, хотя и расположено не более чем в ста милях от Москвы и вовсе не далеко от основной дороги.

Эти хижины и ветхие постройки расположены по прямой менее чем за милю от главного здания усадьбы, если идти по полю, которые все еще обрабатываются, и богатым садам. В духовном смысле расстояние между скромными хижинами и самим домом кажутся почти бесконечным, , как богатое литературное наследие Толстого, с большим пианино и портретами предков, нарисованных в западной манере. Хотя по меркам европейского аристократского дома Ясная Поляна выглядит аскетическим, усадьба остается весьма отчетливо домом европейского аристократа. И еще мы не ощущаем, как это ощущается при посещении замка на Луаре или Рейне, она является частью населенного ландшафта. Даже в дни, когда Россия была полна барских поместий и усадеб, они казались островками на чужом море.

Построенный по европейским «лекалам» дом Толстого, (речь идет лишь о флигеле особняка, где жил дед Толстого Волконский), окружен землей, которая должна была оказать столь сильное влияние на великого романиста. Здесь много березы, которые весной и летом покрываются перистой, нежной зеленью, на фоне которой дом выглядит особенно великолепно. Зимой все вокруг белым-бело, кора деревьев, сам дом, заснеженные поля и дорожки, замерзшие пруды и озера. Ощущается здесь нечто большее, чем просто физическая близость природы. Скажу больше, возникает некое чувство смещения, ощущение несовместимости дома и земли, словно всякого рода претензии, притязания цивилизованного человека неизбежно обрушаются перед лицом природы. Кому принадлежат эти деревья, этот замерзший снег, эти поля? Эти вопросы должны были преследовать молодого наследника Ясной Поляны Льва Толстого.

Однако для читателя “Войны и мира” это место также обладает сиюминутно знакомым очертанием. Мы чувствуем себя также дома, как чувствовали себя в любом другом месте, принявшим под пером писателя образную форму. Точно так же, как, невозможно проехать по стране Гражданской войны, и при этом не озаряться фрагментами «Непокоренных» Фолкнера, так и здесь, на Ясной Поляне, мы мгновенно переносимся на «Лысые горы», описанными в величайшем романа Толстого.

Именно здесь, в Ясной Поляне, дед Толстого вел свою раздражительную жизнь, которую Толстой мифологизирует в «Войне и мире». Толстой изменил только одну букву фамилии деда – с В на Б – и «открыл» образ князя Болконского. Роман приобретает некую величественность, когда в нем появляется образ князя Болконского:

*«И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно-высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика, с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и точно молодых блестящих глаз»[[2]](#footnote-2).*

Большая часть драмы «Лысых гор» в начале “Войны и мира” вращается вокруг вопроса господина Вудхауса о том, решится ли эгоистичный старик расстаться с княжной Марьей и отдать ее мужу:

*«Жизнь без княжны Марьи князю Николаю Андреевичу, несмотря на то, что он, казалось, мало дорожил ею, была немыслима. “И к чему ей выходить замуж? -- думал он, -- наверно, быть несчастной»[[3]](#footnote-3).*

Все это имеет достаточно малое значение с точки зрения сюжета книги, но то, что оно обладает персональной значимостью для Толстого, очевидно. Изображая княжну Марью в своем романе, он изменил одну букву в ее фамилии, но оставил ее имя без изменений. То, над чем размышлял Толстой в своей эпопее, отражало многие вопросы, как, например, вопросы войны и мира, расцвета и падения империй, прошлого Европы, будущего России. Но создавая эгоистичный характер князя Болконского, Толстой размышлял также над не менее важном историческом таинстве своего рождения.

Толстой не видел своего деда Волконского. Старик умер в 1821 году, оставив свою дочь старой девой – к тому ей исполнился тридцать один год, и она не была замужем. Беспокоясь о наследстве, она в общих чертах предположила, что могла бы выйти за своего двоюродного брата князя Михаила Александровича Волконского. Из этой идеи ничего не вышло. Князь женился на другой женщине в Москве в апреле того же года, и княжна Мария присутствовала на свадебной церемонии. Там она встретила менее подходящего холостяка, графа Николая Ильича Толстого, который был на пять лет младше ее, и обе семьи немедленно вступили в переговоры со своими адвокатами. Брак был обговорен и вскоре состоялся. Княжна Марья намеревалась иметь наследников, а, значит, надо было спешить. Они поженились 9 июля 1822 года. Ее приданое составляло восемьсот крепостных мужских «душ» в Тульской и Орловской губерниях и имение в Ясной Поляне.

Граф Николай Ильич Толстой был отставным армейским офицером. Его отец был губернатором Казани, города, расположенного в четырехстах милях к востоку от Москвы, и финансовые дела старика были настолько запущены, что Николай счел долгом уйти из армии, чтобы в какой-то момент ему не пришлось стыдливо признаваться в чрезмерной бедности дабы продвинуться по служебной лестнице. (Он был лейтенантом- полковником, когда подал в отставку.) Брак с богатой женщиной, очевидно, разрешал его трудности, и, поскольку Толстые слыли древним, достопочтенным русским родом[[4]](#footnote-4), то Волконские согласились на этот брак. У Толстых было пятеро детей: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и, наконец, дочь Марья, родившаяся в марте 1830 года. Пять месяцев спустя после рождения последнего ребенка, княжна Марья умерла.

Толстой умер за семь лет до пролетарской революции, а родился три года спустя после дворянской революции, словно его заключили в кокон между двумя революциями – революцией декабря 1825 года и революцией октября 1917 года. На протяжении всей истории царского дома Романовых было множество убийств и дворцовых переворотов, но восстание 14 декабря 1825 года стояло особняком. Он был назван «первым по-настоящему политическим движением, когда-либо направленным против устоявшейся системы в России»[[5]](#footnote-5). Это политическое движение с более широкой приверженностью своих участников имела десятилетнюю историю. Первой официальной организацией будущих реформаторов стала основанный в 1816 году Союз спасения или Общество истинных и верных сынов Отечества. Группа гвардейских офицеров, вдохновленных идеями и событиями предыдущих тридцати лет в Европе, мечтала преобразовать абсолютную монархию российского императора в просвещенную конституционную монархию. Мечтатели или заговорщики были совершенно разными по своим взглядам и целям людьми, что стало одной из причин их поражения. Некоторые смотрели на Англию как на идеальную модель, на страну, действительно управляемую аристократической олигархией, но сохранившую исторические формы монархии и религии. Другие равнялись на Францию, французскую революцию, приверженность этой страны республиканским формам правления. Некоторые из заговорщиков были масонами, или дилетантами в своих отличных новизной и причудливостью верованиях, которые время от времени занимали воображение петербургских салонов. Некоторые из заговорщиков сходились в своем желании освободить крестьян от крепостничества, но расходились в условиях реализации этого желания. Но их движение казалось по меркам более поздних революционных движений просто дилетантским. Их планы, как сказывал Пушкин, вынашивались между кларетом и шампанским под аккомпанемент сатирических песен и дружеских споров.

Возможность к действию возникла после смерти Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года. Возникли вопросы: кто должен стать преемником – второй брат императора Константин, на тот момент находившийся в Варшаве, или третий брат – великий князь Николай? Александр I в 1822 году объявил Николая, (у которого был сын и который был верен православию), а не Константина, своим наследником. Причиной тому было то, что друзья и враги представляли Константина как человека «либеральных взглядов», каким по всей вероятности он не был. Северное и Южное общества заговорщиков, деятельность которых, конечно, была известна имперской полиции, заявили о своей поддержке преемственности Константина, но у них было меньше месяца, чтобы каким-то образом популяризировать свою точку зрения в рядах армии. Военные были главным источником их силы, так как большинство из них были офицерами, а великий князь Николай был не столь популярен в армии. 14 декабря великий князь был провозглашен царем Николаем I, а армия проходила смотр на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. В этот день происходила война нервов между новым императором и его армией. Казалось, что около трех тысяч воинов выступят в поддержку революции, оставив позади девять тысяч верных новому режиму. Были и волнующие моменты, как, например, когда старый Александр Якубович, ветеран Кавказа, шествовал перед мятежными войсками и кричал: «Константин и Конституция!»; но, когда был отдан приказ о погрузке Московского полка, у старого героя развилась сильная головная боль, и его нигде не было видно. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга был послан, чтобы урезонить мятежников, и был застрелен. Затем последовал митрополит Серафим, наряженный в великолепную ризу, похожую на коронообразную митру Восточной Церкви. Мятежники велели ему вернуться в собор и помолиться за их души. Наконец, великий князь Михаил попытался утихомирить их, но они и ему велели вернуться в Зимний дворец и не подвергать свою жизнь опасности. К концу дня терпение Николая I иссякло. Он приказал своим войскам открыть огонь по мятежникам, и те, не оказав сопротивления, бежали. В течение следующих тридцати лет в России правил этот огромный и свирепый деспот, который посвятил себя уверенной, расчетливой реакционной политике против слабых либеральных тенденций Александра I.

Декабристов[[6]](#footnote-6) , - так называли заговорщиков декабря 1825 года, арестовали. Допросили примерно шестьсот человек. Сто двадцать один человек предстали перед судом. Пятеро были приговорены к смертной казни, тридцать один были сослан в Сибирь пожизненно, а восемьдесят пять - на более короткий срок.

Из сибирских ссыльных мало кто был более романтично привлекателен, чем троюродный брат Толстого, генерал-майор, князь Сергей Григорьевич Волконский[[7]](#footnote-7), которого лишили земель, титулов и поместий, прежде чем заковать в цепи перед царем, который крикнул ему: «Дурак ты, генерал-майор князь Волконский! Тебе должно быть стыдно!» Но его молодая жена так не думала. Бросив своего малолетнего сына, она последовала за мужем в изгнание и оставалась с ним в течение следующих тридцати лет, а потом все разом испортила - сбежала с другим мужчиной. Первоначально за ней ухаживал Пушкин, посвятивший за героический поступок ей стихотворение:

*Bo rлyбинe cибиpcкиx pyд*

*Xpaнитe ropдoe тepпeньe,*

*He пpoпaдeт вaш cкopбный тpyд*

*И дyм выcoкoe cтpeмлeньe…[[8]](#footnote-8)*

В 1855 году умер Николай I. У инакомыслящих и недовольных появились все основания для радости. Но Волконский, услышав новость в сибирской ссылке, заплакал. Он плакал, потому что его император был мертв, он плакал в думах о России, потому что тридцать лет ссылки, (более короткие сроки должны быль послужить хорошим уроком для Достоевского), заставили его задуматься об альтернативах репрессивной и реакционной форме правления, которому он в молодости так энергично противостоял. Вот, что он писал позднее:

*“И когда наше национальное сознание избавится от этой фатальной путаницы между властью и национальным благосостоянием, которая внесла так много лжи во все сферы национальной жизни, лжи, которая окрасила нашу политику, нашу религиозную и социальную мысль, наше образование? Ложь была главной болезнью российской политики, наряду с ее обычными спутниками, лицемерием и цинизмом. Они проходят через всю нашу историю. И все же, несомненно, целью жизни должно быть не просто существование, а существование достойное. И если мы хотим быть откровенными с самими собой, то мы должны признать, что если Россия не может существовать иначе, чем она существовала в прошлом, то она не заслуживает того, чтобы выжить. И на данный момент у нас нет доказательств того, что страной можно управлять по-другому”[[9]](#footnote-9).*

Сергей Григорьевич Волконский был родственником матери Толстого, княгини Марии Николаевны Волконской. После амнистии, дарованной Александром II, Толстой смог встретиться с ним – хотя и в Италии, а не в России. На протяжении всей первой половины своей жизни Толстой был поглощен восстанием декабристов, которое граничило с одержимостью. Он остро осознавал, что родился слишком поздно для этого; остро осознавая также, что, если бы это удалось, вся российская история была бы другой. Для Толстого судьба России и судьба его собственной семьи всегда были неразделимы, и то и другое - не просто “составляющие” его искусства. Они являются его основной силой, мотивацией, вдохновением. Горький был прав, когда подчеркивал, что Толстой - это “целый мир”, его величие отчасти объясняется тем фактом, что его семья помогала формировать национальную судьбу страны со времен князя Рюрика, а отчасти проистекающий из его собственной вынужденной отдаленности от своих непосредственных предков.

Для него процесс обнаружения того, кто он, кто они, что такое Россия был тесно связанным. “Мир”, которым является Толстой, как сказал Горький, глубоко национальный, глубоко русский, и все же – к ярости Ленина – в высшей степени индивидуалистичный. Его рождение, слишком позднее для одной революции и слишком раннее для другой - это одновременно и отрыв от ткани национальной истории, и вызов обществу, которое повсюду вокруг него шло курсом, столь сильно расходящимся с тем направлением, которое он хотел избрать. «Я с трудом мог представить Россию или мои отношения к ней без моей Ясной Поляны». При некотором освещении Толстой кажется типичным романтическим эгоистом, страстным читателем Руссо, чей ум был достаточно велик, чтобы позволить ему пересидеть девятнадцатый век, не затронутый его изменениями и случайностями. Однако в другом аспекте Толстой, похоже, более увлечен ходом истории, чем любой другой художник с богатым воображением. Вовлеченность и отстраненность были, как и все в нем, в постоянном состоянии противоречия и борьбы.

Толстой должен был вырасти и стать великим романистом, то есть великим фантазером. Романы - это произведения искусства, которые достигают истины, рассказывая неправду. Романисты часто являются мужчинами и женщинами, которых какая-то внутренняя катастрофа вынуждает переписать прошлое, переделать свои воспоминания, чтобы сделать свое существование более интересным или понятным для самих себя. Этот процесс самомифологизации начался у Толстого еще до осознанной памяти, поэтому мы можем только догадываться об истинности того, что он рассказывает нам о своем детстве. Повесть, которую он озаглавил “Детство” и которую некоторые биографы писателя считают почти фотографической записью того, как провел свои дни ребенок, была, по его собственному признанию, полной выдумкой.

Тем не менее, существует очевидный интерес к собственным, будь-то устным или письменным, воспоминаниям Толстого. Один из факторов, способствующих запоминанию читателем этих воспоминаний, на из вещей, которая делает его таким запоминающимся писателем, - это его сверхсознание или надсознание своего существования. Хотя в первые двадцать лет его жизни не было ничего, абсолютно ничего, что указывало бы на то, что он станет великим гением в какой-либо области, ключ к тому, что делает его особенным, кроется в этой сверхъестественной способности осознавать. Мы все знаем, что существует такая вещь как жизнь, что мы живы, что есть мир, полный зрелищ и звуков. Но когда мы впервые читаем Толстого, нам кажется, что до этого момента мы смотрели на мир через пыльное окно. Он распахивает ставни, и мы впервые видим все четко и ясно. Он говорит, что вот это сверхсознание явилось к нему еще в детском возрасте.

*Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться*.*....[[10]](#footnote-10)*

Эти воспоминания предположительно относятся к тому времени, когда Толстой был еще младенцем, в пеленках, кормящимся материнским молоком. Удивительно то, что он не помнил точной текстуры сосков своей кормилицы и той смеси чувственной жадности и духовного отвращения, которые они пробудили в нем, когда ему было шесть месяцев. Святой Августин, чье эгоистическое путешествие предлагает так много параллелей с собственным путешествием Толстого, близок к тому, чтобы иметь такую “память” или, по крайней мере, желать, чтобы она у него была.

*«Другое воспоминание радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельц*о..... [[11]](#footnote-11)

«Тельцо» - разоблачение. В повести «Детство» таких деталей полно. Возьмем, к примеру, то, что в первой же сцене автор рассказывает, что натягивает чулки на свои «крошечные ножки». Будучи детьми, мы не можем осознавать крошечность своих тел. Только ребенок, ставший уже продуктом деятельности, воспоминанием в более старшем сознании, может осознавать, что у него, сидящего в корыте, было крошечное тельцо.

*«Вероятно, это было отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельцо с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто и засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».[[12]](#footnote-12)*

У некоторых людей слух так совершенен, что почти вся музыка для них невыносима; у других обостренное чувство цвета или особо чувствительное обоняние. Тот или иной человек, как известно, обладает разным уровнем чувственной осведомленности. У Толстого *самосознание* было чрезмерно развито. Говоря не в стиле Вордсворта, вокруг него было «слишком много мира».

Другое замечательное качество, которое все читатели замечают в Толстом, - это его нравственная прямота и простота. Это тоже, как он считал, было связано с его детством. Когда ему было пять лет, его старший брат Николай позвал его присоединиться к другим детям. Николай, которому на этом этапе было десять лет, всегда был лидером в их играх, затейником и наставником. Он рассказывал им историю о привидениях и сказки. Но в данном конкретном случае ему нужно было сообщить кое-что более важное пятилетнему Льву, Сергею, Дмитрию и Марии. Николай открыл секрет, благодаря которому все люди станут счастливыми. Больше не будет ни болезней, ни неприятностей, ни гнева. Все будут любить друг друга, их назовут Муравьиными Братьями. Наверное, Николай где-то услышал весть о христианской конфессии, (которая, кстати, оказала такое же воздействие на Джона Уэсли), известной как Моравское братство. Он также, без сомнения, смутно слышал о масонах и их стремлении объединить человечество с помощью какой-либо формы вселенской мудрости. Отсюда и возникло словосочетание Муравьиное Братство. Чем старше становился Лев, тем большее влияние на его воображение оказывало Муравьиное братство. Только гораздо позже в жизни, когда он стал лидером инакомыслия и религиозным гуру, дружба Толстого стала идеологической. Семья, а не кружок единомышленников поддерживала его. Мифология Муравьиного братства всегда оказывала ему интеллектуальную и эмоциональную поддержку.

.

*Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна заключалась в том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы. Эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зелёной палочке. И палочка эта зарыта у дороги на краю оврага, в том самом месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть меня, просил в память о Николеньке закопать меня[[13]](#footnote-13)*

Ясная Поляна, где зарыта эта палка, была полна легенд, вошедших в личную мифологию Толстого, а также забытыми народными и семейными “воспоминаниями”, на которых был воспитан великий писатель. Если великой политической легендой российской истории девятнадцатого века считать восстание декабристов 1825 года, то великим национальным событием стало вторжение Наполеона в Россию в 1812 году: событие в воображении русских девятнадцатого века параллельное вторжению Гитлера в 1941 году в воображении русских двадцатого века. В обоих случаях присутствуют одни и те же составляющие элементы: шок, ярость, благоговение и национальная гордость. Но в случае с Наполеоном не было воспоминаний для сравнения. Постороннему человеку, смотрящему на карту Российской империи во времена Александра I или на карту Советского Союза в эпоху Сталина, (кстати, территория Советского Союза была меньшей по площади из-за унизительных условий, на которые пошел Троцкий в Брест-Литовске), извечный российский страх вторжения поражает идеей, которую трудно понять. Страна настолько огромна, расстояния, пройденные любым захватчиком, должны быть настолько протяженными, что только безумец или гений мог бы подумать о такой дерзкой военной операции. И все же дважды появлялись такие безумцы, каждый раз принося с собой сцены резни, не имеющей аналогов в российской истории. Бородино, битва, которая предшествовала захвату французами Москвы в сентябре 1812 года, открыла новые ужасы в истории войн. Наполеон назвал это самым страшным из всех своих сражений. Потерь были больше, чем в любом другом сражении за всю историю мира: тридцать тысяч французов и сорок тысяч русских пали смертью за один день. Еще десяткам тысяч французов было суждено погибнуть во время последовавшего за этим зимнего отступления, и вся кампания с ужасающей и неизбежной силой подчеркивала абсолютную тщетность стремления к власти и пустоту военной славы.

*О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все войны.[[14]](#footnote-14)*

Так размышляла княгиня Марья Болконская в “Войне и мире”, когда она в поместье своего отца впервые услышала вести о вторжении Наполеона. Князь Андрей, несколькими главами позже, по дороге из Смоленска, сворачивает, чтобы осмотреть это место, и находит его уже в полуразрушенном состоянии. Его мать и сестры бежали в Москву, крестьяне находятся в состоянии уныния и разорения, в поместье расквартировались три полка русских драгун. Вдоль маршрута войск декоративные сады были приведены в негодность, некоторые оконные стекла были разбиты, на дорожках уже росла трава. До Бородино имели место еще несколько ярких моментов эмоционального воздействия наполеоновской войны.

Ясная Поляна и вся Россия после нашествия Наполеона должны были снова ожить, о чем размышлял Толстой. Так много всего происходит в подсознании писателя, когда он создает своих персонажей, что никакое простое отождествление людей в книгах и людей в “реальной жизни” никогда не достигнет полного осмысления. Тем не менее, кажется несомненным, что в образе старого князя Болконского Толстой думал о своем деде Волконском; что молодой князь Андрей Болконский взял многое от отца Толстого, а добродетельная сестра князя Андрея Марья Болконская – от матери Толстого, Марьи Волконской. Эти простые отождествления имеют и психологическую важность. Превратив своих родителей в брата и сестру, Толстой с классической эдиповой ревностью отстранил свою мать от постели отца. Но это все не поможет без понимания основной ошибки такого подхода. При любой надежде на историческая достоверность, невозможно рассматривать “Войну и мир” как точную картину, изображающую отчасти жизнь родителей и деда Толстого. У нас есть только “вымышленные” описания жизни на Лысых холмах: почти нет подлинных документов о жизни в Ясной Поляне в 1812 году. Мы никогда не узнаем, сколько в этом романе преувеличений, а сколько правды. «Война и мир» - это не только великий исторический роман, это памятник одержимости писателя своей собственной историей. Читатели романа, которые возвращаются к ранней жизни Толстого, тысячами нитями ощущают, что они здесь уже были.

Оставшись вдовцом в возрасте тридцати пяти лет, отец Толстого пытался эффективно управлять поместьями, которые он унаследовал от жены. Денег у Толстого было мало. С тех пор как старый казанский губернатор умер в 1820 году, Николай Ильич боролся с унаследованными долгами и множеством экстравагантных иждивенцев женского пола.

Его основными занятиями были сельское хозяйство и судебные процессы. Причем последние занимали большую часть жизни. Они часто вынуждали его покидать дом, и, кроме того, он

очень любил охоту. Помимо этого, граф Николай Ильич был грамотный человек, содержал неплохую библиотеку, но очень мало уделял времени детям.

*Помню его в кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолоки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. [[15]](#footnote-15)*

Воспоминания Толстого о своем отце полны восхищения и привязанности. Он вспоминает его красоту, сюртук и узкие брюки или, в сельской местности, его радостный энтузиазм на охоте. Но, как и все аристократические дети того времени, они очень мало видели своего отца. Представляется что, дети чувствовали особую близость к своей бабушке, простушке, транжире, рьяно защищавшей старые устои. Одним из самых ранних воспоминаний Толстого было то, как она сидела в желтой таратайке под кустами орешника. Лакеи наклоняли к ней ветви орешника, чтобы она могла срывать орехи, не вставая со своего места.

В 1837 году дети потеряли отца. Он поехал в Тулу, чтобы принять участие в одном из судебных процессов, и упал замертво на улице. Ему было сорок два года. Некоторые члены семьи сразу же заподозрили его слуг в преднамеренном убийстве. Другие думали, что у него был эпилептический припадок. Оба эти предположения, какими бы интересными они ни выглядели, все-таки были беспочвенны. Отец Достоевского, действительно, был убит, и это событие стало поворотным моментом в его жизни. Но у девятилетнего Толстого не было припадков, когда он услышал о смерти своего отца. Это событие прошло в ошеломляющей пелене горя, за которым на следующий год последовала смерть его старой бабушки.

Детей пришлось отдать под опеку тети, сестры покойного графа, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, женщины, которая легко могла сойти со страниц Достоевского. Ее муж был безумным прибалтийским графом, который пытался отрезать ей язык и даже стрелял в нее. Она же находила утешение в благочестивом исповедании православной религии. Она никогда не была так счастлива, как читая жизнеописания святых или, когда она уже не могла читать и собиралась встретиться с ними.

Когда она жила в деревне, в поместье своей покойной невестки в Ясной Поляне, она часто развлекала странных, полубезумных странствующих паломников, которые бродили по грязным дорогам, перемещаясь в те дни, когда не было железной дороги, от города к городу.

*С незапамятных времен такие скитальцы существовали в России, странники, без дома и семьи, не имеющие никаких земных связей, не занимающиеся никаким ремеслом, движимые вперед какой-то безымянной мыслью. Они вели жизнь цыган, но не принадлежали к ним, они бродили по обширным территориям России, перемещаясь от села к селу, из страны в страну... Никто не знал смысла их паломничества. Я убежден, что если бы кого-нибудь из них спросили, куда он направляется и почему, никто не смог бы ответить... Может быть, они бежали от нечто более осязаемого, чем тоска, ностальгия, которую совершенно неописуемо, совершенно непонятно и часто без мотива испытывают только русские[[16]](#footnote-16)*.

Толстой не был уникален в своем чаровании этими любопытными фигурами, но, возможно, из-за духовных пристрастий своей тети он чаще общался с ними, чем со своими сверстниками в школе. Гриша, юродивый, *(святой безумец)*, которого он описывал в детстве, был одним из таких: грязный, с дикими глазами, уродливый и бессвязный. Гриша на самом деле был выдуманным персонажем, составленным из множества образов бродяг, которые, должно быть, проходили через Ясную Поляну в детстве Толстого. В старости он вспоминал, что ни один из настоящих юродивых не произвел на него такого впечатления, как дурачок, сын садовника *(вообще-то, он был помощником садовника – прим.перев.),* которого он подслушал молящимся в оранжерее *(большой зале летнего дома между двумя оранжереями – прим.перев.)*, примыкающей к гостиной, “и действительно поразившего и глубоко тронувшего меня своей молитвой, в которой он говорил с богом, как с живым лицом: «Ты мой лекарь, ты мой аптекарь», - говорил он с внушительной доверчивостью».[[17]](#footnote-17)

Мы можем быть уверены, что его тетя Александра, (которая была настолько святой, что не мылась и издавала “специфический кислый запах”), передала свое благочестие своим подопечным. Его любимой библейской историей была история Иосифа и его братьев, история о младшем сыне, которого братья изгнали и продали в чужую страну, а затем, когда он воссоединился с ними во взрослой жизни, он смог старшинствовать над ними, одарив их зерном, златом и драгоценностями. Привлекательность этого предания для юного сироты очевидна; точно также привлекательна история, в которой “мечтателю” и бездельнику удается добиться мирского успеха в своей жизни. Каждый писатель, пользовавшийся большой популярностью и успехом, должен был вкусить вознаграждения дворца фараонов.

Библия не могла в тот период сыграть столь же важную роль в воспитании православного дитяти, какую она играла у протестантов на Западе. Только в 1818 году, за десять лет до рождения Толстого, появился Новый Завет на современном русском языке, (ранее он был на старославянском языке). У английского ребенка на тот период одной этой книги было бы очень мало для религиозного обучения, в Англии уже имелись Библия, Катехизис и, в более строгих семьях, Книга мучеников Джона Фокса. Малый из русской семьи мог развить свое воображение, глядя на мерцание лампы, темные иконы и бормотание молитв дома; в церкви, в широком смысле, все молятся вместе, как богатые, так и бедные, стоят, зажигают свечи, кланяются, крестятся и присоединяются к пению хора волонтеров. В православной литургии, в отличие от всего, что можно увидеть на Западе, мы видим, как весь народ Божий совершает свою литургию вместе, похожий на куклу священник, бородатая фигура, застывшая в облачении, делает свое дело за ширмой и только время от времени появляется, чтобы благословлять, увещевать или распространять Причастие. Во всем этом не так много упражнений для интеллекта. Здесь нет аналитических проповедей, как это могло бы быть в Шотландии, Швейцарии или Франции. Вероятно, священник едва ли грамотен. Это была не та Церковь, которая произвела на свет столько великих ученых, сколько это сделали церкви Запада, и ее отношение к знаниям было, по меркам Западной Европы, мракобесным и суеверным. Церковным продуктом у православных были только святые.

Тетя Толстого Александра не могла не рассказать ему истории о святых и героях Русской церкви. Она наверняка рассказала ему о том, как русский народ был обращен в христианство киевским князем Владимиром (ум. в 1015 году), с помощью миссионеров, приглашенных из Константинополя.

До своего обращения Владимир был развратником, пьяницей и воином. После крещения он отказался от своих привычек пировать, отверг богатую жизнь и проживал среди бедных, открывая свои ворота калекам и неимущим. Тот, кто раньше так рьяно проливал кровь на ратном поле, убедился, что отнимать человеческую жизнь - это зло. Владимир отменил смертную казнь для преступников, и когда греческие епископы показали ему, что он не прав, поступая таким образом, он остался верен своим убеждениям, что пыткам и смертной казни нет места в христианском королевстве.

Не могла же она не рассказать своим племянникам о сыновьях князя Владимира, Борисе и Глебе, первых двух канонизированных святых русской церкви. Когда Владимир умер, его старший сын Святополк попытался избавиться от других своих братьев и стать единоличным правителем России. Сначала он напал на князя Бориса, своего младшего брата, возглавлявшего войско отца. Но Борис поверил словам Господа Нашего о том, что неправильно отвечать насилию насилием, и позволил зарезать себя. Своим поступком, (ибо Святополк хотел только его смерти), Борис пощадил жизни всех своих воинов. Несколько дней спустя другой брат, Глеб, последовал примеру Бориса*.*

*История Бориса и Глеба показывает, что семена христианской религии упали на благодатную почву в России, и что народ всем сердцем приняла новое верование. Она показывает, что Христианство понималось русскими людьми не как доктрина, не как институт, а в первую очередь, как образ жизни*.[[18]](#footnote-18)

Эти истории запали в сознание Толстого, но вряд ли они могли затмить факт смерти отца. Когда ему было девять лет, и умер его отец, рассказывает Толстой, он не мог поверить, что графа Николая Ильича больше не существует. Гуляя по улицам Москвы, он пристально вглядывался в лица встречных, надеясь, что это будет его отец – деталь, которую он позже использовал, когда маленький Сережа скучал по своей матери Анне Карениной. Небытие его отца было образно непоглощаемый; не такой, как у Бога. Когда примерно в это время школьный друг его брата сказал им, что он сделал великое открытие, они все собрались вокруг, чтобы послушать. Этот ребенок, Володенька Милютин, был мудрым двенадцатилетним подростком, учившимся в гимназии недалеко от дома Толстого в Москве. В ходе учебы ему открылась тайна, что Бога не существует. Более того, все, чему взрослые учили о Нем, было просто вымыслом. Братья Толстые обсудили этот вопрос и решили, что, в конечном счете, Милютин сказал им правду. Несуществование Бога, по-видимому, не особенно смутило их. Возможно, если бы тетя Александра прожила дольше, она могла бы повлиять на детей, чтобы они были более

благочестивыми в общепринятом смысле. А может и нет. Фигурой, которая была гораздо ближе всем детям, и в частности самому Толстому, была дальняя родственница Татьяна Александровна Ергольская.

В его самых ранних воспоминаниях о ней ей было уже за сорок. «Она, должно быть, была очень привлекательна, с ее огромной косой жестких, черных, вьющихся волос, ее черные как смоль глаза и живое, энергичное выражение лица. ...» - написал он. Затем он отстранился. «Я никогда не задумывался о том, красива она или нет». Герой «Воскресения», Нехлюдов, смотрит на портрет своей матери в комнате, где она умерла. Его тошнит от особой тщательности, с которой художник изобразил очертания ее грудей и промежуток между ними, виднеющуюся поверх платья с глубоким вырезом. Было что-то отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы, в том, что он рассматривал свою мать как полуобнаженную красавицу...Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате три месяца тому назад лежала эта женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, но и весь дом”[[19]](#footnote-19).

Даже “невинные” образы материнства у Толстого осложнены чувствами секса и смерти. Культуры, более заряженные, чем наша собственная, нужно попробовать на вкус, чтобы в центре внимания оказалась юношеская психика Толстого. (Был ли это св. Алоизий, который был настолько свят, что не хотел оставаться в одной комнате наедине со своей матерью, чтобы она не воспламенилась им в похоти?) Кровосмесительные чувства к матери, которых у него никогда не было, мучили Толстого всю его жизнь.

Тем временем Татьяна Александровна Ергольская, любимая Тант Туанетт, заменила ему мать.

*Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами».[[20]](#footnote-20)*

Семейные легенды затвердевают и окостеневают. Мы больше никогда по-настоящему не узнаем, что Толстой действительно знал о том, что происходило в сердце его отца в момент смерти матери. Мы можем быть совершенно уверены, что графу Николаю и тете Туанетте помешало жениться не идея Толстого, что отношения тети с детьми были бы более чистыми и поэтичными, если бы она не разделила бы ложе с отцом. Мы даже не знаем, делила она ложе или нет. Для Толстого было важно установить целомудренность своей «маленькой тети». Ее поцелуи и ласки предназначались только ему. Именно она стала причиной физической привязанности маленького Толстого. Именно от нее он узнал «духовное наслаждение любовью». Более того, как мы уже говорили, она научила его «очарованию неспешной, спокойной жизни».

Это урок, который любой ребенок в этой семье должен был бы усвоить. Но шансы усвоить этот урок были сильно подсокращены. Татьяна была с ними в Ясной Поляне летом 1841 года, когда

тетя Александра совершила один из своих частых визитов в знаменитый Калужский скит, ответвление монастыря Оптина Пустынь, который Достоевский прославит в «Братьях Карамазовых». В августе пришло известие, что умерла тетя Александра. Татьяна отправилась в

монастырь, чтобы организовать похороны, а младшие дети остались за городом со слугами и наставниками, занимаясь постройкой «трона» для своей собаки. (Она упала с «трона» и повредила себе лапу.)

Никто из них не понимал значимость смерти тети Александры. Это была четвертая крупная смерть за первые тринадцать лет жизни Толстого, и с точки зрения его судьбы в течение следующих шести лет смерть Александры будет очень важной. Потери родителей и бабушки были непомерны. Но потеря слегка сумасбродной тети Александры фактически вытеснила его, братьев и сестру. Они отдалились от привычных сцен Ясной Поляны и Москвы, оторвались от единственного человека, к которому испытывали самую теплую привязанность. Тетя Татьяна была для них всего лишь очень дальней родственницей, и у нее не было никаких законных прав на детей. Их опекунство, естественно, перешло к единственной оставшейся в живых сестре их отца, графине Пелагее Ильиничне Юшковой.

Старшему брату Толстого, Николаю Николаевичу, к тому времени исполнилось восемнадцать. Он остро ощущал недостаток финансов в семье, пока не достиг совершеннолетия. Он умолял тетю Пелагею, (которую никто из них толком не знал), сделать все возможное для финансовой помощи. Чего дети не понимали, так это того, что существовали «эмоциональные подтексты». Много лет назад полковник Юшков, неизлечимо распутный муж Пелагеи, запал на Татьяну Александровну Ергольскую. Он даже, в свои холостяцкие дни, делал ей предложение. Для мальчика Толстого любовь тети Туанетты была чистой и восхитительной. У его тети Пелагеи были более острые, ревнивые воспоминания об «огромной косе жестких, черных вьющихся волос» и угольно-черных кокетливых глазах, которые соблазнили и ее брата, и ее мужа. Даже спустя двадцать лет это оставалось тем, с чем она не могла смириться. Дети могли бы приехать и жить с Юшковыми в Казани, но Татьяну Александровну (хотя сейчас она была в том возрасте, когда вряд ли могла подтолкнуть полковника к нескромности), следовало покинуть. «Это жестоко и варварски - разлучать меня с детьми, к которым я так нежно относилась почти двенадцать лет», - призналась она как-то одному из корреспондентов.

Графиня Пелагея Ильинична, конечно, была далека от мисс Мёрдстон *(графиня Пелагея не соответствовала суровому и властному архетипу, который символизирует мисс Мёрдстон, героиня романа Диккенса «Дэвид Копперфильд» -* *прим.перев.* ), но вся ситуация носит тот же неизбежно пронзительный характер, что и в викторианском романе. Она и её жизнерадостный, прямодушный муж искренне верили, что делают для детей Толстых всё возможное — и в самом деле, так оно и было. Но в этом в то же время заключалась проблема: лучшее на тот момент — это совсем не то, что им было нужно или чего они хотели. Величественная и немного сумасшедшая атмосфера жизни под покровительством тётушки Александры уступала место более "денежному" и мирскому "комфорту" у её светской сестры. Толстой уходил все дальше от грязи и слякоти сельской местности и мостовых купеческой Москвы к провинциальным улицам Казани. Он покидал вшивых паломников и религиозных фанатиков, которыми окружала себя одна тётушка, чтобы встретить напудренных лакеев и светских пустышек другой тётушки, которые, благодаря тому что жили в Казани, мнили себя важными особами. «Путь пилигрима» подходил к концу, превращаясь в «Ярмарку тщеславия» *(Речь идет об аллегорическом произведении, написанным английским пуританским проповедником Джоном Беньяном, и о произведении Уильяма Теккерея. Автор этим хотел сказать, что на этом этапе своей жизни Толстой отошел от духовных идеалов и оказался под влиянием более мирских, материалистичных устремлений – прим.перев).*

**ГЛАВА 2**

**ИОСИФ И БРАТЬЯ**

1841-1847

*«Вот я и в Азии!»*

Екатерина Великая

С 1841 по 1847 год Толстой жил в Казани[[21]](#footnote-21). Хотя в этот период он посещал разные семейные имения, подростковые годы будущего писателя напоминали своего рода ссылку. Мнения о Казани всегда разнились. Екатерина Великая, побывавшая здесь в 1767 году, писала Вольтеру: «Вот я и в Азии!»[[22]](#footnote-22). Сергей Аксаков, чьи незабываемые школьные годы прошли в Казани, вспоминал зимние месяцы, когда лед на озере Кабан становился ареной знаменитых кулачных боев между татарами и русскими, жившими по разным берегам озера.[[23]](#footnote-23) Александр Герцен отмечал «завуалированные лица татарских женщин, высокие скулы их мужей, мечети верующих, стоящие рядом с православными церквями – все это напоминает Восток. Во Владимире или Нижнем Новгороде чувствуется близость Москвы, но в Казани понимаешь, что Москва далеко»[[24]](#footnote-24). Самый занимательный из английских путешественников в России, сэр Д. Маккензи-Уоллес, упомянув, что Казань когда-то была столицей независимого татарского ханства, позже предупреждает, что «город в целом имеет скорее европейский, чем азиатский характер. Если кто-то приедет сюда в надежде увидеть “восточную экзотику”, он будет сильно разочарован»[[25]](#footnote-25).

Дед Толстого по отцовской линии был губернатором Казани. Город, благодаря своему расположению на Волге, на границе между европейской и азиатской Россией, имел определенное значение, но был далеко не крупным. Как отмечает Маккензи-Уоллес, Казань кажется интересной лишь в сравнении с другими провинциальными городами на Волге.

В период пребывания Толстого в Казани население города не превышало тридцати тысяч человек. Это был оживленный городок, где тетя и дядя находились в центре общественной жизни. Если счастье заключалось в обедах, карточных играх, маскарадах и живых постановках, дом Юшковых был вполне веселым местом для взросления. И Толстой часто наслаждался этими развлечениями. Однако его юность омрачала застенчивость и чувство, что его крупный нос и кудрявые волосы делают его ужасно непривлекательным для девушек. Часы мучительного молчания перед зеркалом сменялись еще более невыносимыми приступами страсти, которые начали терзать его с момента прибытия в Казань. В доме его тети была служанка по имени Маша, которая первой пробудила в нем эти чувства; но он был слишком застенчив, чтобы что-то предпринять. Вскоре после этого Сергей повел своего застенчивого брата в бордели.

Братья Толстые и сестра Марья оставались очень дружными, сплоченными, но это чувство начинало постепенно меняться и исчезать. Николай окончил Казанский университет и поступил на службу в армию. Остальные два брата оказали на Льва Николаевича противоположные влияния. Сергей был светским человеком: с ним можно было выпивать, танцевать и говорить о женщинах. Дмитрий, ближайший по возрасту к Льву, был совершенно иным. Лев, младший всего на год, завидовал его «большим, темным, серьезным глазам», а также способности не только смешить девушек, но и внушать им мысль о своей глубокой серьезности. В старости Толстой вспоминал Дмитрия в казанский период как невинного героя Достоевского. В то время как Сергей и Николай вели распутный образ жизни, Дмитрий «никогда не страдал от обычных юношеских пороков. Он всегда был серьезен, задумчив, чист и решителен, хотя и вспыльчив». Как и старший брат Николай, Дмитрий был абсолютно равнодушен к тому, что о нем думают окружающие; его не заботили одежда, звания или внешний вид — все то, что так волновало подростка Льва.

В этот же период у Толстых была бедная родственница по имени Любовь Сергеевна. «Когда я её знал, она была не только жалкой, но и безобразной. Я не знаю, какая у нее была болезнь, но её лицо было опухшим, как будто его искусали пчёлы. Её глаза были узкими щелочками между опухшими блестящими подушками, лишенными бровей. Её щеки, нос, губы и рот были такими же опухшими, блестящими и желтыми. Она говорила с трудом, вероятно, опухоль была и во рту. Летом на её лице садились мухи, и она их не чувствовала, что было особенно неприятно видеть. Её волосы всё ещё были чёрными, но редкими и не скрывали её кожного покрова на черепе. От неё всегда исходил неприятный запах, и в её комнатушке, окна которой никогда не открывались, воздух был спертым. И эта Любовь Сергеевна стала другом Дмитрия. Он начал ходить к ней, слушать её, разговаривать с ней, читать ей. Мы были настолько невежественны, что только смеялись над этим, тогда как Дмитрий настолько нас превосходил по духовности, что никогда не показывал, что считает своё поведение чем-то особенным. Он просто вел себя подобающим образом. И это нельзя было назвать сиюминутным порывом, наоборот, он постоянно вел себя так, когда мы жили в Казани»[[26]](#footnote-26).

В соответствии с образом наивного героя из произведений Достоевского, Дмитрий был глубоко набожен, хотя его набожность отличалась от той, что была у тети Пелагеи. Она (которая закончила свои дни монахиней после смерти полковника) была особенно заинтересована в ризах и золотых облачениях священников и щедро жертвовала церкви. Дмитрий же был вдохновлен романтикой бедных Христовых последователей. Эта его особенность впервые проявилась во время его первого поста в подготовке к Святому Причастию. Он готовился не в модной университетской церкви, а в тюремной. В тюремной церкви служил очень благочестивый и строгий священник, который в течение Страстной недели читал все Евангелия — это предписывается, но редко выполняется в православной литургии. Дмитрий стоял на протяжении всех этих чтений.

Церковь была устроена так, что заключенные были отделены от остальной паствы стеклянной перегородкой с дверью. Однажды, когда один из заключенных хотел передать что-то дьякону — то ли деньги, то ли свечу для зажжения — никто не согласился помочь ему. Тогда Дмитрий с «серьезным лицом» подошел и передал это сам.

Образ этой тюремной церкви преследовал Толстого всю жизнь. Она вдохновила его на одну из самых мощных и резких атак на православную веру, написанную через сорок лет после смерти Дмитрия. Но на короткое время, когда Толстому было около шестнадцати, под влиянием Дмитрия он почувствовал прилив благочестия. Он исповедовался, причащался и погружался в богатую литургическую атмосферу казанских церквей. Помимо тюремной церкви, в Казани было множество великолепных храмов, где молодой верующий мог молиться, особенно в кафедральном соборе с тремя знаменитыми и чудотворными иконами святых Юрия (Георгия), Варсонофия и Германа. Однако, несмотря на то, что религия была глубоко укоренена в его сущности, ум Толстого долго не находил в ней покоя. Он рассказывал, что однажды, в день университетского экзамена, прогуливался у Черного озера и молился Богу, чтобы сдать экзамен. Но всё же, изучая Катехизис, он ясно понял, что «весь Катехизис ложен».

Примерно в это же время он начал читать Жан-Жака Руссо [[27]](#footnote-27)— писателя, оказавшего, пожалуй, наибольшее влияние на развитие мыслей Толстого. Позже он говорил, что в юности так боготворил Руссо, что хотел бы носить его портрет на шее в медальоне, как святую икону[[28]](#footnote-28). В других разговорах он намекал, что так и поступал. Однако ни этот медальон, ни даже чьи-то воспоминания об этом не сохранились. В старости он любил говорить, что читал всего Руссо помногу раз, даже его «Словарь музыки». Но доподлинно сложно определить, сколько трудов женевского философа Толстой успел прочесть в Казани.

Семейная легенда гласила, что любимым чтением матери Толстого было философское произведение Жан-Жака Руссо «Эмиль, или о воспитании», что превращало эту книгу для Толстого в священный текст, независимо от содержания. Почти наверняка он прочитал «Эмиля» в подростковом возрасте и впитал простое благочестие савойского священника (в четвёртой книге). Этот священник, родившийся крестьянином и рукоположённый до того, как у него появилась возможность усомниться в доктринах католической церкви, начинает искать истину примерно в то же время, когда сталкивается с проблемами, вызванными его неспособностью соблюдать обеты безбрачия. «Моё затруднение удваивалось вследствие того обстоятельства, чт оя родился членом церкви, которая разрешает всё, которая не допускает никакого сомнения, так что один отвергнутый пункт заставлял меня отвергать все остальные; и невозможность принять столько нелепых решений отвращала меня также от тех, которые вовсе не были нелепыми»[[29]](#footnote-29).

Савойский священник не отвергает Бога, но, находя все проявления сверхъестественного и идеи о загробной жизни непостижимыми, он предпочитает сосредоточиться на тех аспектах религии, которые непосредственно касаются его самого: это вопросы морали и совести, которые затрагивают его душу. «Я чувствую в себе душу; я познаю ее чувствои и мыслью: я знаю, что она есть, хотя не знаю, какова ее сущность... Наш первый долг — перед самими собой... Совесть — это голос души, страсти — голос тела... Совесть! Совесть! Божественный инстинкт, бессмертный и небесный; надёжный путеводитель существа несведущего и ограниченного, но мыслящего и свободного»[[30]](#footnote-30).

В различные ключевые моменты своей жизни Толстой вновь и вновь находил в себе веру савойского викария; чем чаще он её находил, тем больше убеждался, что это его собственное внутреннее видение: отсюда и возникала путаница в его сознании — кто именно написал труды Руссо, он или сам Руссо. Очарование Руссо для Толстого не требовало объяснений: принятие практически неуправляемой сексуальной страсти; идея о том, что хотя догмы старой религии ложны, в них можно вновь открыть и обновить ядро моральной истины; любовь к простоте, сельской жизни и убеждённость, что добродетель лучше всего практиковать в уединении от общества. Всё это казалось захватывающим для юного Толстого, когда он читал труды Руссо в своей комнате в доме Юшковых. Руссо, которого Толстой рано связал в своём сознании с образом своей матери, был полной противоположностью всего того, что защищала тётя Пелагея. Её дом и образ жизни подчёркивали социальные различия в самом грубом виде: Руссо учил равенству всех людей. Её салон, где невозможно было расслышать себя из-за пустого шума, был полон громких, счастливых людей; тогда как мрачный подросток Лев Николаевич находил у Руссо, что мудрость лучше всего постигается в уединении. Пелагея считала, что религия заключается в послушании Церкви и любви к её ритуалам; Руссо же полагал, что истинная религия состоит в отказе от догм Церкви и сосредоточении на своей собственной душе и совести.

Тем временем, проявляя ту непоследовательность, которая характерна для почти любого подростка, он продолжал придавать огромное значение ношению модной одежды и униформ, пьянкам, езде на дорогой лошади и демонстрации своего социального превосходства всякий раз, когда сталкивался с детьми низшего дворянства или еще более низкого происхождения. Все воспоминания о нём в этот период, как его собственные, так и других людей, описывают молодого человека с весьма невыносимой высокомерностью и тщеславием, который, несмотря на свои нравоучительные позы, посвящал большую часть своего времени разным видам аристократических шалостей.[[31]](#footnote-31)

Однако это было бы неверным впечатлением. Россияне XIX века, как и современные, были обязаны "служить". Бедный антигерой пушкинского "Медного всадника" "служит" где-то в канцелярии в сияющем городе, возведенном великим тираном Петром. Его безумные попытки убежать от статуи Петра навевают на читателей ужас, показывая полное бессилие обычных, частных лиц перед всепоглощающей мощью автократии. Высшие слои аристократии, не меньше чем безликие маленькие Евгении из пушкинского воображения, также должны были "служить". Именно с этой мыслью строилось и образование Толстых. Старший, Николай, был предназначен для военной карьеры. Толстые находились в положении, которое требовало "служить" на высоких и ответственных должностях. Это делало попытки невинного Дмитрия поступить на государственную службу особенно трогательными. Представ перед государственным секретарем Второго департамента гражданской службы в Санкт-Петербурге, Дмитрий не пытался использовать никакие связи. Его братья считали, что он, возможно, был единственным человеком в России, кто воспринимал слово "служить" буквально. Смиренный и патриотичный, он не хотел использовать своё имя или тот факт, что семьи его матери и отца играли важную роль в истории России на протяжении трёх столетий. Он просто сообщил секретарю о своём чине и объяснил, что решил предложить свои услуги в области законодательства.

— Как вас величать?

— Граф Толстой.

— Вы нигде не служили?

— Я только что окончил курс и желаю лишь быть полезным.

— Какую должность вы изволите желать?

— Для меня это безразлично — лишь бы приносить пользу.

Бедный Дмитрий был слишком хорош для этого мира. Неудивительно, что его попытки «служить» окончились столь плачевно! (Потратив свою короткую жизнь, он умер в убогом гостиничном номере на руках у проститутки.) Лев Николаевич же должен был стать дипломатом, как и многие поколения Толстых до него — решение, которое, вероятно, было связано с его выдающимися способностями к языкам. С репетитором, которого привезли с ними в Казань, младшие Толстые совершенствовали свой французский и немецкий. По прибытии в Казань Лев изучал арабский и тюрко-татарский языки в местной гимназии, а затем поступил в университет в шестнадцать лет. Казань, как географически, так и исторически предрасполагал к изучению восточных языков, и на первом курсе Толстой стал изучать языки. Однако на втором курсе Толстой переключился на юриспруденцию и отказался от дипломатической карьеры.

Эти строки не передают сути, если, говоря об университете, мы представляем что-то вроде нынешнего Казанского университета — с его просторными, хорошо укомплектованными библиотеками, безликими лабораториями и студентами в неприметной одежде — ничем не отличающимися от студентов Гарварда, Парижа или Оксфорда[[32]](#footnote-32). Когда в мае 1844 года Толстой впервые поднимался по склону к Казанскому университету, его взору предстало огромное белое здание гимназии, с ярко-зеленой крышей и куполом. Но вскоре все его романтические представления о жизни в университете развеялись. Один из современных западных историков[[33]](#footnote-33) сравнил Казанский университет того времени с печально известным приютом Дотебойс Холл (*Приют Дотебойс Холл (Dotheboys Hall) — это вымышленное учебное заведение, описанное в романе Чарльза Диккенса "Жизнь и приключения Николаса Никльби" (1838-1839). В книге приют изображён как ужасное и жестокое место, где детей-сирот и тех, кто оказался на попечении государства, подвергали издевательствам и эксплуатации – прим.перев*), а методы его директора с подходом мистера Сквира *(Мистер Сквирс (Wackford Squeers) — это директор этого приюта, жестокий, невежественный и алчный человек, который безжалостно использует детей для своей выгоды – прим.перев.)*. Студенты, получавшие государственные стипендии, были обязаны выполнять тяжёлую физическую работу. Весь университетский двор был разделён на участки, распределённые между учащимися. В воспоминаниях Аксакова здания университета казались « страшным, очарованным замком (о которых я читывал в книжках), тюрьмою, где я буду колодником. Огромная дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид и которая, казалось, проглотила меня— две широкие и высокие лестницы, ведущие во второй и третий этаж из сеней, освещаемые верхним куполом; крик и гул смешанных голосов, встретивший меня издали, вылетавший из всех классов, потому что учителя еще не пришли, – все это я увидел, услышал и понял в первый раз»[[34]](#footnote-34).

В гимназии, а еще больше в университете, Толстой впервые начал осознавать реальную жизнь в России, жизнь за пределами своей семьи, жизнь, напрямую зависящую от политики и характера имперской автократии.

Казанский университет был основан только в 1804 году, когда указом Александра I гимназии был присвоен статус университета. В первые годы почти все преподаватели были либо старые учителя гимназии, либо случайные сотрудники, а из семи профессоров первоначального университета большинство были немцами, так как в России просто не было специалистов, способных преподавать на необходимом уровне. Русские, которые проявляли интеллектуальные способности, могли быть уверены, что столкнутся с активными преследованиями со стороны правительства. Выдающийся русский математик начала XIX века Н.И. Лобачевский, чьи новаторские работы по неевклидовой геометрии были признаны учеными по всему миру, не получил такого признания в России. Почти все силы Лобачевского, как профессора математики в Казанском университете с 1827 по 1846 год, уходили на защиту себя и своих коллег от нападок университетского куратора М.Л. Магницкого. Этот человек стремился сам занять кафедру математики, но не добился этого и получил государственную должность куратора университета. Он находился в Санкт-Петербурге и постоянно был настроен враждебно к Казани. Его первый доклад министру просвещения о Казанском университете заключался в том, что университет следует упразднить. Не добившись этого, он продолжал серию атак на всех преподавателей, докладывая министру просвещения графу С.С. Уварову, который сам не был образцом прогрессивного либерализма. Эти нападки принимали такие коварные формы, как проверка записей студентов на наличие признаков подрывной деятельности со стороны преподавателей. А подрывная деятельность, по определению министерства Уварова, была почти неизбежна.

Как мы уже видели, Толстой решил специализироваться в восточных языках в свой первый год в Казани. Однако считалось крайне опасным, если студенты читали что-либо, что могло бы открыть им глаза на то, что не все разделяют доктрины Русской Православной Церкви. Преподавателям восточного факультета было запрещено «вдаваться в подробности религиозных убеждений и обычаев мусульманских народов». Влияние, если оно должно было быть, должно было идти в обратную сторону. Уваров «имел счастье доводить до высочайшего сведения о сем (этом) первом явлении, свидетельствующем, что основательное просвещение может быть принадлежностью и полудиких сыновей степей»[[35]](#footnote-35).

Справедливости ради, в те времена в университете действительно учился хотя бы один бурят-монгол. И хотя от студентов арабского языка ожидалось, что они не будут изучать ничего, связанного с исламом, мусульмане в Казанском университете все же были. В те времена в Оксфорде нельзя было даже поступить в университет, не говоря уже о получении степени, если ты не принадлежал к Англиканской церкви. Замечания Уварова о "полудиких сыновьях степей" не были более абсурдными, чем утверждения Сэмюэля Джонсона о том, что коров нужно выгнать из сада, чтобы оправдать изгнание методистов из Оксфорда. (*Это утверждение является примером саркастической или ироничной критики. Сравнение Сэмюэля Джонсона о "выгоне коров из сада" использовано для того, чтобы высмеять или подчеркнуть абсурдность действий, подобных изгнанию методистов из Оксфорда. Идея в том, что методистов изгнали из университета так же необоснованно и бессмысленно, как если бы кто-то выгонял коров из сада, будто это решит какую-то проблему. Таким образом, Джонсон критикует строгие религиозные ограничения Оксфорда, показывая, что запрет на обучение тех, кто не принадлежит к Англиканской церкви, был абсурдным и неоправданным* *– прим.перев.*)

Необходимо дать некоторые разъяснения по поводу того, что имел в виду министр просвещения под «основательным просвещением», чтобы современный читатель не подумал, что университетские преподаватели поощряли своих студентов к чтению Канта, Руссо, Дидро или Вольтера. Если вы изучали философию в Казани во времена Толстого, обязательной литературой были послания апостола Павла к Колоссянам и к Тимофею. Это было сделано по настоянию Магницкого, известного в частных беседах своими циничными высказываниями по поводу атеизма, но который в своей публичной роли был решительно настроен искоренить «тонкий яд неверия и ненависти к законным властям».[[36]](#footnote-36)

Философское исследование в такой атмосфере было почти неизбежно связано не только с антиклерикальными, но и антигосударственными настроениями. Поскольку правительство Николая I считало себя воплощением православия – и православия крайне репрессивного, невежственного и суеверного типа – было трудно отказаться от этих суеверий, не заявив о своей оппозиции правительству.

Толстой стал одним из самых заметных русских диссидентов XIX века, и его признавали как правительство, так и Ленин, считая, что он на половину выполнил работу революционеров, хотя сам оставался аномалией в политическом спектре. Это объясняется не только личностью Толстого и его происхождением, но и тем, что он учился не в Петербурге или Москве, которые в то время были центрами либерализма, анархизма и недовольства правительством.

Казань времен Толстого не знала «студенческих волнений», которые начали беспокоить её, когда там учился отец Ленина десятилетием позже. К моменту, когда сам Ленин был студентом Казанского университета 80-х годах 19-го столетия, там даже проходили публичные демонстрации против университетского инспектора: именно за участие в этом и исключили Ленина в 1887 году. Во времена Толстого дисциплина была неоспоримой, о чём свидетельствует шок, который его собственное высокомерное поведение вызвало у однокурсников. Когда он и один студент опоздали на лекцию по истории, их на ночь заперли в аудитории, и другой молодой человек был поражён тем, как спокойно Толстой осуждал абсурдность университетской системы и её программы. В Москве такое поведение не вызвало бы удивления, и оно было бы нормой для просвещенного и бунтарского молодого дворянина. В Казани 1840-х годов не было атмосферы политического недовольства, которая могла бы породить такого человека, как Александр Герцен. Весь радикализм Герцена зародился в период его учёбы в Московском университете в 1830-х годах. После того как он покинул свой любимый университет, он продолжил развивать свои радикальные идеи в небольшом кружке единомышленников из числа университетских друзей. Лишь когда этот кружок начал распадаться под давлением преследований со стороны самодержавия, а сам Герцен прошёл через тюрьму и ссылку в Сибирь, он окончательно покинул Россию в январе 1847 года. Пока Толстой лежал в университетской клинике в Казани, «отец русского социализма» пересекал Европу, которая стояла на пороге революций. И хотя Герцен больше никогда не увидел многих из своего кружка, их образы и воспоминания о них остались с ним на протяжении всего его изгнания и нашли отражение в его произведениях. Несмотря на то, что Герцен был страстным индивидуалистом по своим убеждениям, как и многие радикалы и революционеры в России, которые воспринимали его как символ сопротивления, его поддерживала мысль о своём маленьком сообществе. Толстой, чья бунтарская натура была аналогичной, но в конечном итоге совершенно иной, в юности не испытывал такого утешительного чувства принадлежности к интеллектуальному кругу.

Толстой откровенно признавался, что выбирал университетских друзей, исходя из их внешности. Ему было приятнее прокатиться в санях, закутавшись в плед с каким-нибудь симпатичным молодым человеком, чем обсуждать мировые проблемы. Ночные часы были посвящены пьянкам и походам по девицам, а не утончённым политическим дискуссиям. Заниматься политикой, а не просто испытывать неопределённое недовольство миром, в Казани было бы трудно, если бы там не существовало значительного политически активного студенческого движения. Но такого движения не было.

Если взглянуть на статистику, его изоляция кажется даже более преувеличенной, чем он сам мог её ощущать или создавать. Когда Толстой учился в Казани, население Российской империи составляло около шестидесяти миллионов человек. Перепись, проведённая пятью годами ранее (и нет причин полагать, что за период 1842–1847 годов произошло значительное увеличение числа студентов), показала, что в университетах всей империи обучались всего три тысячи четыреста восемьдесят восемь студентов. Из них в 1842 году только семьсот сорок два человека получили дипломы.

Высшее образование, которое в Советском Союзе, как и в современном Западе, является идеалом для всех, кто способен его получить, в те времена затрагивало лишь крохотную часть населения России. И после года изучения восточных языков Толстой перешёл на юридический факультет. Это сделало его частью ещё более узкого круга избранных, ведь только представители высших слоёв аристократии могли изучать юриспруденцию в российских университетах эпохи старого режима.

В то время его профессором был человек по имени Д. И. Мейер, который в 1849 году, ещё до того, как Толстой стал знаменитым, записал свои впечатления о юноше: «Я дал ему экзамен сегодня и заметил, что у него нет никакого желания учиться. У него такие выразительные черты лица и такие умные глаза, что я уверен: при доброй воле и независимости он может стать выдающимся человеком».[[37]](#footnote-37)

Вдохновлённый профессором Мейером, Толстой решил, что действительно хочет учиться. Так же, как благочестие Дмитрия на короткое время побудило его стать набожным православным, а разврат Сергея заставил его примерить роль повесы, восхищение профессором права (единственным человеком в Казани, который вдохновил его на такую преданность) заставило Толстого захотеть сдать экзамены. «Для меня главный признак любви — это страх обидеть или не угодить объекту своей любви: просто страх».

Мейер поручил Толстому подготовить диссертацию, сравнивающую «Наказ» Екатерины Великой и «Дух законов» Монтескьё. Его дневники за это время показывают, что Толстой считал это чрезвычайно полезным упражнением. В его записях нет ничего, что указывало бы на будущие анархистские позиции. Никаких намёков на критику автократии. Как мы уже отмечали, было бы немыслимо, чтобы студент того времени открыто критиковал правительство в официальной работе, не подвергнув себя и своего преподавателя риску. Но судя по его частным заметкам, нет оснований полагать, что Толстой испытывал враждебность. Единственный намёк на его будущую позицию виден в его осуждении смертной казни; но ничто не было менее «толстовским», чем его убеждение, что хорошие законы должны быть синонимом морали.

Можно задаться вопросом, как ученик Руссо мог принять деспотические идеи Екатерины Великой, которую в зрелом возрасте Толстой назвал «глупой, неграмотной и развратной девицей». Ответ, вероятно, кроется в том, что в девятнадцать лет Толстой ещё не был сформировавшейся личностью. Как и большинство девятнадцатилетних, он был многоликим: и романтическим революционером, и человеком, стремившимся сделать карьеру на государственной службе; свободолюбивым поклонником природы и, временами, православным, терзаемым виной.

Эта вина была сексуальной. Типично для Толстого, который любил сохранять все в рамках семьи, то, что к проституции его приобщили братья. Кажется, что ему было около четырнадцати лет, когда его старший брат Сергей впервые привел его в бордель. Толстой рассказывает, что после того, как он «совершил этот акт», он стоял у кровати и плакал.[[38]](#footnote-38)

Сложно сказать, действительно ли это произошло. Историки озадачены воспоминаниями Толстого о том, что это важное событие в его личной истории произошло в комнате одного из монастырей в Казани, предназначенной для подобных встреч.

Впоследствии Толстой получил множество подобных опытов, которые дополнили его первое разочаровывающее знакомство с казанской девицей: горничные, цыганки, крестьянки, а в конце концов и жена делили с ним постель и становились свидетелями жестоких противоречий между его плотскими желаниями и духовным отвращением к половому акту. В этом факте — если Толстой действительно потерял девственность в монастыре — есть некая манихейская закономерность. Будь это правдой или нет, образы, которые возникли у него на склоне лет, — неудержимые желания, подстрекательство брата, соблазн женщины и последующий горький стыд — рассказывают свою неотвратимую историю. Он плакал, но все же поддался. Мало кто из художников испытывал столь преувеличенное чувство сексуальной вины; немногие также неловко справлялись с этим в личной жизни, как он, но, в то же время, умели так творчески использовать это в литературе.

Некоторые причины его мучительных чувств по поводу секса, вероятно, кроются в прошлом, которое в духе Фрейда почти невозможно восстановить — возможно, даже до смерти его незапомненной матери. Однако другие причины более очевидны, и одна из них — три года, проведенные в борделях, которые оставили Толстого заражённым гонореей. В клинике венерических болезней проще всего начать ненавидеть своё тело. Как раз в тот момент, когда его учёба шла хорошо, Толстой заметил неприятные симптомы выделений и жжения и был отправлен на лечение в университетскую клинику.

Сам факт наличия университетской клиники венерических болезней в таком маленьком городе, как Казань, свидетельствует о распространённости проблемы. Россия XIX века, как и западные страны того времени, страдала от венерических заболеваний. Взглянув на медицинскую историю прошлого столетия, с её блистательным списком известных сифилитиков, от Авраама Линкольна до Бодлера, можно подумать, что единственным средством профилактики был целибат. Возможно, что отец Толстого также страдал от сифилиса — его внезапная смерть и гиперактивность его детей были выдвинуты как возможные симптомы этого заболевания — но никаких доказательств этому нет. Сам Толстой, по сравнению с другими, был счастливчиком, столкнувшись с гораздо менее опасной, хотя и крайне неприятной, гонореей.

Лечение гонореи ртутью было совсем не шуткой. Одной из опасностей этого заболевания является стриктура уретры — невозможность мочеиспускания, что приводит к отравлению организма. Именно это погубило Джеймса Босуэлла, биографа Сэмюэля Джонсона и многолетнего страдальца от гонореи. Считалось, что ртуть очищает и расширяет проходы. Но жидкий металл сам по себе не так просто вводится в те области тела. Его нужно было вводить через мужской половой орган. Можно только восхищаться природой, которая позволяла известным ловеласам, вроде Босуэлла и Толстого, не утрачивать охоты за женщинами, несмотря на то, что одно неудачное обстоятельство могло вновь привести их в клинику с её примитивными шприцами и сомнительными медиками.

Мы уже отмечали изоляцию Толстого в мире. История сделала его представителем меньшинства внутри аристократии, лишив при этом многих привилегий этого класса. Он был членом одной из старейших аристократических семей, но её обедневшей ветви. Осиротев, он не рос ни в устоявшемся мире московского общества, ни в захватывающей атмосфере столицы Санкт-Петербурга.

Теперь, в девятнадцать лет, он физически оказался в изоляции в клинике. Это был первый случай в его жизни, когда он остался полностью один. Даже на лекции или прогулки Толстой, как и большинство благородных юношей, ходил в сопровождении слуги. (Александр Герцен был таким же — у него всегда был лакей, который носил его книги в Московском университете.) Толстой подружился со своим слугой, которого звали Ванюша. Но теперь и он был удалён. Не было ни братьев, ни кузенов, ни шумных друзей. Только боль, стыд и пустые стены клиники, нависшие над ним. Именно в этой вынужденной уединённости Толстой впервые начал вести дневник. Первые его слова были: «Шесть дней, как я в клинике... У меня гонорея, откуда обычно её и получают».

Именно в тот день, когда он написал эти слова, можно сказать, началась истинная история Толстого. В конце концов, то, за что мы ценим его и находим его историю интересной, — это его воображение. Толстого ожидали приключения — он видел, как в Париже казнили человека, участвовал в Крымской войне. Но в основном внешние обстоятельства его жизни были не более интересны, чем у любого другого русского дворянина XIX века. Что выделяет его — это то, что произошло, когда он начал вести дневник, который со временем перерос в практику написания художественной литературы.

С большими перерывами он оставался компульсивным дневниковедом до конца своих дней. Дневник был для него исповедальней, записной книжкой, каталогом моральных законов. Это не был дневник, в котором много внимания уделялось другим людям. В центре внимания всегда был Толстой сам. Именно поэтому этот дневник был больше не средством самозаписи, а инструментом для самопроекции. Толстой не фиксировал, каким он был на самом деле, скорее проецировал образ, каким он хотел бы быть. Именно в этом процессе проекции и трансформации лежат истоки его художественной литературы.

7 апреля в своем дневнике Толстой задал себе вопрос: «В чем смысл жизни человека?» и пришел к выводу, что это «развитие» — что бы это ни значило — «развитие всего, что существует». Судя по всему, Толстой имел в виду, что он должен реализовать весь свой потенциал и таланты, потому что он добавляет: «Я был бы самым несчастным человеком, если бы не нашел цели в жизни — цели как общей, так и полезной — полезной потому, что моя бессмертная душа, когда полностью созреет, естественным образом перейдет в более высокое существование, соответствующее ей. Так что вся моя жизнь будет постоянным и активным стремлением к этой единственной цели...»[[39]](#footnote-39)

Ни слова о предстоящих экзаменах; ни слова о том, чтобы покинуть университет. Однако два дня спустя, 19 апреля 1847 года, он подал прошение университетским властям с просьбой разрешить ему вернуться домой «по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам». В этот день он просто записал в дневнике: «Встал очень поздно и только в два часа дня решил, чем заняться»[[40]](#footnote-40). Если вырвать эту фразу из контекста, это могло бы показаться днем ленивого безделья. Однако поскольку она совпадает с подачей прошения о возвращении домой, можно предположить, что решением, принятым в два часа, был именно этот выбор — вернуться в Ясную Поляну. Без объяснений.[[41]](#footnote-41)

К этому моменту Толстой уже покинул клинику и снова жил со своими братьями Сергеем и Дмитрием. Некоторое время назад они переехали из дома Юшковых и жили со своими слугами в отдельной квартире. Записей о том, выдворил ли полковник Юшков их за шумное поведение или они просто устали от его общества, не сохранилось. Возможно, в доме Юшковых просто не хватало места.

Итак, что же произошло между 17 апреля, когда Толстой выражал свое горячее желание «изучить весь курс права, необходимый для финального экзамена в университете», и его прошением об уходе 19 апреля? Необходимо учитывать два факта. На экзаменах прошлого года Толстой провалился с треском. Освоив арабский и основы других восточных языков, он провалился на простых географических вопросах во время устной части экзамена. Какие главные порты Франции? Он не имел ни малейшего представления и показал столь же глубокое незнание самых элементарных фактов российской истории. Возможно, он просто не хотел снова пережить это унижение. В те времена было совершенно нормально посещать университет, не получая диплома.

Второй факт гораздо важнее: 11 апреля 1847 года Толстой вступил в наследство. Первое ощущение одиночества в клинике было одновременно и угнетающим, и возбуждающим, временем, когда, возможно, как никогда прежде, он осознал, что его жизнь принадлежит ему самому. Примечательно, что с детства Толстой был увлечен библейской историей о Иосифе и его братьях. В этой истории второй младший член великой семьи, пройдя через период разлуки с ними, добивается такого возвышения, что становится их господином, держа в своих руках их жизнь и судьбу. Но этого успеха он достигает только после того, как на время разлучается с братьями и доказывает свою состоятельность в Египте.

Николай уже ушел в армию. Сергей заканчивал курс в Казани, что оставило бы Толстого с братом Дмитрием, которого он прозвал «святым дурачком». И хотя он идеализировал Дмитрия в своих воспоминаниях, важно отметить, что между тем временем, когда Толстой уехал из Казани в 1847 году, и смертью Дмитрия они почти не виделись.

Сложный процесс раздела наследства их родителей обсуждался с попечителем завещания их отца с прошлого лета. В частности, они беспокоились о том, чтобы Марья не осталась в бедности. Исполнитель завещания написал Николаю, который находился на Кавказе: «Я знаю вашу братскую любовь к Марье Николаевне, которая любит вас, как отца».

Окончательное соглашение оставило Марье имение Пирогов с около 150 душ крепостных и 958 десятинами земли. Другие имения и души были разделены между братьями. Примечательно, насколько справедливо они разделили имущество. Например, Николай получил большее имение Плотицна с более чем 1000 десятин земли и 317 крепостными; Сергей, который любил лошадей, получил конный завод и главное имение наследства — Пирогово с 2075 десятинами. Однако эти братья выплатили младшим компенсацию «рублями серебром». Николай выплатил Льву 2500 серебряных рублей; Сергей — 1500 серебряных рублей. Дмитрий получил 7000 серебряных рублей от Сергея, а также 331 душу крепостных и имение площадью 1000 десятин.

Кроме рублей, Лев унаследовал различные имения в Тульской губернии: Ясенки, Ягодную и Мостовую Пушотшу, а также Малую Воротинскую. По обычаю, младший сын наследовал имение, где росла семья, и Лев также унаследовал имение Волконских в Ясной Поляне. В итоге он стал владельцем около 1485 десятин земли и 330 крестьян — «душ», как их тогда называли.

Перевести эти статистические данные в осязаемые или представимые реалии довольно сложно. Так насколько богат был Толстой? Гораздо беднее, чем его экстравагантный дед, бывший губернатором Казани. Богатейшие семьи России, такие как Шереметьевы, имели доходы в районе семисот тысяч рублей в год и владели двумястами тысячами «душ»[[42]](#footnote-42). В целом, высшие слои дворянства, к которым принадлежали родители Толстого, могли рассчитывать на владение более чем тысячей душ, в то время как у «дворянства» их было около пятисот. Если у вас было меньше ста «душ», вас считали принадлежащим к «обедневшему» дворянству.[[43]](#footnote-43) Семья Толстого, безусловно, опустилась в последние двадцать лет. С другой стороны, унаследовать в девятнадцать лет четыре тысячи рублей, 1485 десятин земли и триста тридцать крепостных — это не совсем бедность.

Наследство было оформлено официально 11 апреля 1847 года, вскоре после того как Толстой покинул клинику. Экзамены все еще маячили на горизонте, и он решил усердно к ним готовиться. Но его решимость продержалась ровно неделю. 19 апреля он попросил разрешение выйти из университета и, оставив Дмитрия и Сергея продолжать учебу, уехал из Казани в Ясную Поляну.

Говорить о том, что Толстой «решил» бросить учебу в университете или «принял решение» покинуть Казань, подразумевает как некую финальность, так и рациональность, которые на самом деле отсутствовали. Единственное рациональное объяснение его отъезда заключается в том, что не было никакого объяснения. По наитию он решил вернуться к «тётушке». Не в последний раз в своей бурной жизни внутренний кризис был разрешен бегством.

**ГЛАВА 3**

**ИСТОРИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ**

1847-1850

*«... мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем...»*

Утро помещика

Весна только начинала пробуждаться, когда Толстой вернулся домой в апреле 1847 года.[[44]](#footnote-44) Имение Толстого с его деревнями, фермами и хозяйственными постройками располагалось в приятной, холмистой местности. Колеса кареты преодолевали изрытые выбоины, катились по колее, которую русские девятнадцатого века умудрялись назвать настоящей дорогой. Она пролегала между двумя башенками, возведёнными старым князем Волконским в эпоху Наполеоновских войн, словно ворота в историю, наполненную эхом канонад и героических сказаний.. Теперь их побелка облезла, а кирпичная кладка, несмотря на всего лишь тридцать лет, выглядела ветхой. Проехав башни, карета въезжала в аллею серебристых берез, почти ставшую клише патриотизма и ностальгии в русской литературе. А в конце аллеи стоял двухэтажный белоснежный дом, который поначалу напоминал колониальную архитектуру Новой Англии. Неподалёку находился не менее элегантный одноэтажный флигель для прислуги, построенный дедом Волконским и оснащённый помещениями для крепостных, мастерскими, станками для ткачества и ковроткачества, а также швейными и кружевными мастерскими.

Крестьяне, пришедшие поглазеть на нового помещика, были ужасно неопрятны и нищи. Сама усадьба дом с небольшого расстояния имела все признаки запустения и упадка. Английский сад, посаженный давным-давно старым Волконским, зарос. Дорожки были грязными, заросшими сорняками. Крыша находилась в удручающем состоянии. Деревянные элементы веранды, некогда украшенные изящной резьбой, теперь гнили и покрывались трещинами. На веранде его ждала тётушка Татьяна. После девятнадцати лет полных эмоциональных потрясений и поездок это было возвращение домой.

Для многих место рождения — лишь точка на карте. Однако для Толстого наследие Волконских означало куда больше, чем просто собрание деревянных строений и заброшенных аллей. Дом был для него не просто местом — он был частью его сущности, единственным стабильным элементом в жизни, постоянно меняющейся с тех пор, как ему исполнилось два года. Его судьба неоднократно кидала его то в Москву, то в Казань, то к одной тёте, то к другой. Ясная Поляна, подобно тётушке Татьяне, оставалась неизменной, и именно сюда они всегда стремились вернуться на летние каникулы.

Значение Ясной Поляны для Толстого не ограничивалось лишь воспоминаниями; его сущностью были события и личности, уходящие корнями глубже его собственной памяти. Реконструкция мира Волконских, их жизни и общества не была простым увлечением семейной историей; это стало для него животрепещущей эмоциональной потребностью. Недостижимость этого поиска, его постоянное ускользание, стало ключевым аспектом его творчества. Даже в преклонные годы, когда он долгие годы жил в Ясной Поляне, его дневник сохранял записи о прогулках по саду и раздумьях о матери. «Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня».[[45]](#footnote-45)

Внутри дома стоял зелёный кожаный диван, на котором родился сам Толстой и на котором (часто с большим неудобством для жены) он настаивал, чтобы родились многие из его детей. Этот фетиш имеет столь очевидное значение, что его не нужно подчёркивать. Он сам говорит за себя. Бродя по холодным, пыльным комнатам, девятнадцатилетний наследник видел Толстых и Волконских, смотревших с портретов на него: дяди, кузены, бабушки и дедушки, но не мать. («По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и всё, что я знаю о ней, всё прекрасно, и я думаю — не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.»)[[46]](#footnote-46) Однако мужчины в мундирах, взирающие со стен коридоров и столовой, имели более чем физическое присутствие: они смотрели на молодого Толстого с мрачным презрением.

Ясная Поляна знала лучшие времена. Россия знала лучшие времена. И род Толстых тоже знал лучшие времена. Во времена Екатерины Великой они были генералами, дипломатами, министрами при дворе. И хотя некоторые Волконские и Толстые ещё оставались при дворе его величества, это были дальние кузены, и их существование лишь усиливало чувство бедности и отсутствия цели у Толстого. Неудивительно, что Толстой почувствовал настоятельную необходимость сделать что-то для Ясной Поляны: что-то, чтобы улучшить имение и физическое благосостояние своих крепостных. Сам Николай I, отнюдь не опасный либерал, на заседании Государственного совета в 1842 году признал, что «нет сомнения, что крепостное право в нынешнем виде в нашей стране – зло, явное и очевидное для всех». Однако Николай утверждал, что дать им свободу и ввести реформы сразу же означало бы вызвать лишения и социальные беспорядки. Как и многие последующие правительства, он призывал к «постепенному переходу к другому порядку» и обвинял во многих бедах тех неразумных помещиков, которые пытались обучать своих крепостных сверх того, что диктовало им их положение. К этому благородному сословию вскоре устремился и Толстой. Он интуитивно чувствовал, что надо все привести в порядок, что необходимо улучшить условия жизни крепостных, дать им больше свободы в управлении своими делами. Однако пропасть между крепостными и их молодым барином была огромной, и Толстой вскоре начал размышлять, пусть даже в своём небольшом масштабе, над этой российской болезнью XIX века. Те, кто был воспитан или получил образование для управления страной, не были наделены властью автократией. Но даже если они и не могли участвовать в процессе управления, они склонны были устремляться в города. Однако наградой за их положение было владение землёй и крепостными. Таким образом, Россия была изрезана множеством заброшенных поместий, чьи владельцы были либо некомпетентны, либо не желали брать на себя ответственность за них. Иногда имения оставляли на попечение управляющего; иногда их просто забрасывали, и «души», принадлежащие этим отсутствующим или нерадивым помещикам, могли катиться ко всем чертям. В девятнадцать лет Толстой столкнулся с дилеммой, связанной с его наследством. Тот факт, что его имение имело для него глубокое эмоциональное значение, только усугублял трудность выбора. Помимо задач по управлению имением, Толстой изобиловал планами насчёт своей собственной жизни. Он представлял из себя необычное сочетание крайней лени и туманных амбиций. До этого момента его жизнь текла в полном беспорядке. На следующие два года он начал строить планы:

(1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет. (2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. (3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. (4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. (5) Изучить историю, географию и статистику. (6) Изучить математику, гимназический курс. (7) Написать диссертацию. (8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. (9) Написать правила. (10) Получить некоторые познания в естественных науках. (11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать.[[47]](#footnote-47)

Довольно обширная программа. Неудивительно, что времени на написание романа у него не нашлось. На самом деле, такая мысль даже не приходила ему в голову. Этот список (включающий медицину и сельское хозяйство) частично показывает, что Толстой хотел учиться, чтобы стать ответственным помещиком. Одним из поразительных моментов в жизни Толстого, рассматриваемой в целом, является то, что он довольно тщательно выполнил эту трудоемкую программу обучения. К языкам он также добавил знание турецкого и арабского, а в более поздние годы — греческого и голландского. Возможно, он так и не достиг совершенства в живописи, но во всех других областях он стал достаточно компетентен, в основном благодаря острому осознанию того, что в юности эмоционально было невозможно усидеть на месте и получить образование. Было бы нереалистично думать, что в девятнадцать лет, оставшись в деревне наедине с любимой «тетушкой», он найдет либо необходимую мотивацию, чтобы начать, либо внешнюю дисциплину, чтобы продолжить такой курс обучения.

В первые месяцы в Ясной Поляне он наслаждался свободой от Казани и острым чувством возвращения домой: было радостное открытие мест, где прошли его детские годы, и разнообразные впечатления от посещения крестьянских изб (хижин) с отвращением, охоты на зверей и приема соседей и родственников. Никакие его планы на этом этапе не имели шансов на осуществление, за исключением, пожалуй, его решения записывать правила. Он был в этом хорош. Из-под его пера текли правила для управления эмоциями, правила для подчинения воли чувству любви («Держись подальше от женщин» — малая надежда на это!), правила для возбуждения чувств всеобщей любви, правила для развития различных способностей, таких как умение делать выводы. Однако в жизни никаких выводов сделано не было.

Как мы уже говорили, одной из очевидных причин, почему Россия находилась в таком хаосе, было то, что владельцам имений было слишком скучно жить в них. Вкусы и стремления, отраженные в правилах Толстого, явно не могли быть удовлетворены ни тетушкой (хотя она была умной и стимулирующей), ни крестьянами (сколь бы ни привлекали его они в воображении и сексуально). Толстому были нужны друзья, гостиные, концертные залы, библиотеки — короче говоря, ему нужен был город. Культ Руссо о сельской жизни и примитивности захватил его воображение, пока он был окружен шумной атмосферой Казани. Тем не менее, на практике, после первых нескольких месяцев, Ясная Поляна начала его ужасно тяготить.

Его двоюродный брат (и будущий шурин) Валерьян Петрович Толстой приехал к нему в конце лета перед тем, как вернуться на службу в Сибирь. Когда тарантас Валерьяна отъезжал, Лев Николаевич внезапно запрыгнул в него, совершенно готовый в моменте отправиться проводить зиму в Сибири. Почему бы и нет? Чем ещё заниматься? Валерьян указал на то, что хотя Лев Николаевич взял с собой немного ручной клади, на голове у него не было шапки, что могло бы быть не совсем удобно в Сибири. Толстой остановил тарантас и слез с него. Эта маленькая история указывает на полное отсутствие цели и ориентированности в жизни на тот момент. Это мы знаем, что перед нами Толстой и что однажды он напишет «Войну и мир». Но молодой человек этого еще не знал.

Когда он унаследовал Ясную Поляну, он был точно так же потерян, как любой из романтических героев ранней русской литературы XIX века, так же ленив, как Чацкий или Оленин. Это, кстати, отличный пример того, насколько опасно некритично использовать художественную литературу в качестве источника для биографии Толстого. Никто, например, не сомневается, что роман, который он позже планировал, но так и не завершил, под названием «Русский помещик», во многом опирается на этот период воспоминаний и вдохновения. «Да, — сказал старый Толстой, прогуливаясь по имению со своим немецким биографом Лёвенфельдом, — вот мы и находимся в самом том селе, где молодой помещик пережил все свои разочарования. » [[48]](#footnote-48)

Но, в отличие от самого Толстого, герой романа изображен в решительно ясных тонах. На первой же странице мы встречаем девятнадцатилетнего князя, который закончил университет (в отличие от Толстого) и который, проведя лето на своем имении, пишет своей любимой тетке о том, что собирается посвятить себя улучшению жизни своих крестьян.

«Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самлм жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут со своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб объяснить моё намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек?»[[49]](#footnote-49)

Толстой, как замечают, вдвое увеличил размер своего наследства ради художественной правды. Он не только предстаёт более альтруистичным, чем на самом деле; он также показывает себя более богатым. Евгений Онегин и другие герои испытывают похожие благотворительные чувства по отношению к "душам" в их владении; нет оснований сомневаться в искренности желания Толстого улучшить участь таких людей, как Иван и Давыд. В творчестве Гоголя, Лескова и других авторов мы часто встречаем трагикомический образ либерального помещика, который старается улучшить жизнь своих крестьян. Однако его усилия встречаются с глубоким недоверием, которое никогда не коснулось бы бесчувственных управляющих или старомодных помещиков, издевавшихся над своими подчинёнными.

В рассказе Лескова о реформе, названном «Злой человек», наивные крестьяне крайне недолюбливают своего либерального английского управляющего, мистера Денна. «Он не хотел меня высечь», — жалуется один из них. Ситуация не улучшается, пока они не сожгут водочный завод, построенный Денном для их блага, и пока некоторые из них не подвергнутся порке, не окажутся на каторжных работах или не будут сосланы на каторгу в Сибирь. Только тогда они начинают понимать своё место. Толстой не прибегал к таким грубым ирониям в «Утре помещика», но он явно отражает свое уныние перед безнадёжностью крестьянских условий, с которыми он столкнулся летом 1847 года. Однако уныние — это не всё, что он испытывал, столкнувшись с огромной пропастью между собой и своими крестьянами. Глубокое усвоение идей Руссо склоняло его к вере в благородного дикаря, в то время как что-то более глубокое тянуло его к крестьянам в поразительно необычной манере. Фрагмент заканчивается типичной для Толстого нотой: он желает, чтобы он был крестьянином, и не просто любым крестьянином, а конкретным — Ильей. Здесь нет ничего общего с Марией Антуанеттой. То, что Толстой завидует в Илье, — это его предполагаемая способность откликаться на жизнь спонтанно и естественно. Это не столько христианская добродетель Ильи, сколько его языческая самоотдача привлекает князя Нехлюдова: красивый, румяный белокурый парень, современный царь Давид, крестьянин прибывает на своей телеге к трактиру:

Илья весело здоровается с белолицой, широкогрудой хозяйкой трактира, которая спрашивает: «Издалече ли? И много ли ужинать будут?» с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими, сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звёздным небом, где он будет лежать на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток, и раз тридцать сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи, помилуй», и увернувшись голвоой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот он видит во сне город Киев с угодниками и толпами богомольцнв, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далёкое синее море с белыми парусами и город Царьград [т.е. Константинополь] с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками — куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами – и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

«Славно!» — шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он не Илюшка – тоже приходит ему»[[50]](#footnote-50)

Этот безумный вопрос будет возвращаться к Толстому снова и снова на протяжении его жизни. Даже на смертном одре (хотя к тому времени мысль уже окрепла доктриной) он усердно размышлял, каково это — быть спонтанным, и соединял это размышление с его восхищением мужиком.

Илья, как и многие благородные дикари в молодой фантазии Толстого, не чувствует сексуальной вины. Он может встряхнуть своими кудрями, перекреститься, а затем мечтать без мучений о пышногрудых турчанках. Но не так было у Льва Николаевича, чьё отношение к сексу колебалось между неудержимым сексуальным аппетитом и болезненным самоукором. Его дневник, когда он мог заставить себя писать в нём, является каталогом «правил», прерываемых помпезными юношескими обобщениями: «От кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всём и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врождённых в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и др., как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас, в теперешний же развратный, порочный век они хуже нас».

Эти чувства отвращения очень заметны, когда он может заставить себя в дневниках упомянуть о самом сексуальном акте, а не уклоняться в такие кодовые выражения, как «я недоволен собой», за проступок в невоздержанности. Например, весной 1851 года мы находим у него запись: «Не мог удержаться, подал знак чему-то розовому, которая в отдалении казалась мне очень хорошим и отворил сзади дверь. – Она пришла. Я ее видеть не могу, противно, гадко, даже ненавижу, что от нее изменяю правилам».

Было много таких моментов в годы безделья после того, как он впервые покинул Казань. Летом в Ясной Поляне он влюбился в служанку по имени Дуняша. Она недавно вышла замуж за управляющего по имени Орехов, и молодой помещик устроил так, чтобы пара спала в соседней комнате, чтобы он мог представлять, что за стеной его спальни, а возможно, даже мучительно прислушиваться к их безгрешному счастью. В другой год это была служанка его тети Татьяны, девушка по имени Гаша, которая забеременела от него. Этот инцидент, как говорится в его поздних беседах с Бирюковым, был изменен и драматизирован в теме его позднего романа "Воскресение". Однако Гаша, в отличие от Масловой, не проходила через грех и позор, а была переведена в качестве служанки в доме сестры Толстого.

Но несмотря, или, возможно, из-за удовольствий и моральных мучений, которые доставляли служанки и крестьянки, жизнь в деревне для Толстого была так же скучна, как и для Евгения Онегина.

Потом увидел ясно oн,

Что и в дepeвнe cкyкa та жe,

Xоть нет ни yлиц, ни двopцoв

Hи кapт, ни бaлoв, ни cтихoв . . .[[51]](#footnote-51)

В течение следующих двух лет Толстой проводил летние месяцы в Ясной Поляне, а зимой он снимал квартиру, которую разделял с другом, в Арбатском районе Москвы.

Москвич двадцатого века удивился бы, вернувшись в Москву 1850 года, её маленькому размеру и новизне. В 1812 году это был в основном деревянный город. Во время вторжения Наполеона он был сожжен дотла. Почти все, что осталось от старого города, находилось внутри стен средневековой крепости или Кремля, с его великолепными церквями, соборами и царскими резиденциями.

Москва того времени была творением девятнадцатого века. Город, который знал Толстой, состоял из проспектов, площадей и домов, каждому из которых было не более сорока лет. Истинные космополиты, такие как Тургенев, с презрением смотрели на москвичей, которые казались им провинциальными и консервативными. Но многие из "хороших" старых семей имели здесь большие дома. В 1850 году здесь все еще царил аристократический досуг. Чрезвычайное перенаселение и индустриальное расширение, которые мучили старую столицу в конце века и вызывали у Толстого такую боль, еще не начались.

По его собственному признанию, московские дни и ночи были расточительными: много питья, походы в бордели или к "цыганам", растущая зависимость от азартных игр. Все это перекликалось с его присутствием на вечеринках и балах его знатных родственников и друзей. В обществе он все еще мучился застенчивостью, если не был пьян. Трудно представить, что правила, которые он сформулировал для общественного поведения, действительно делали его самым обаятельным собеседником. "Правила для общества. Выбирайте сложные ситуации, всегда старайтесь контролировать разговор, говорите громко, спокойно и четко, старайтесь начинать и заканчивать разговор сами. Ищите компанию людей, которые выше вас в социальном плане..."[[52]](#footnote-52)

Нерешительность этих лет, неспособность устроиться или учиться, или знать, куда ведет его жизнь, возможно, усугублялись тем фактом, что Муравьиное Братство теперь было рассеяно. Николай находился на военной службе на Кавказе. Дмитрий был недоступен. Сергей посвящал себя лошадям и блуду с цыганками. Тем не менее, из всех четырех братьев, только Лев Николаевич не закончил университетский курс. Очевидно, первоначальная идея (или одна из них) после ухода из Казани заключалась в том, чтобы провести время в деревне, пересматривая свои юридические книги. Эта идея ни к чему не привела. Затем, внезапно, в конце января 1849 года, он отправился в Санкт-Петербург.

Контраст между по существу провинциальной атмосферой Москвы и благородной красотой и космополитической энергией Санкт-Петербурга не мог быть более резким. Это был не первый визит Толстого в город, но это было его первое длительное пребывание там. Впервые его взгляд охватил величие города — улицы, здания, Невский проспект, каналы, огромные дворцы восемнадцатого века, проспекты и бульвары, по которым люди изящно скользили на санях. Нева была замерзшей. Снег подчеркивал здания особенным образом. Это был город, который Пушкин любил и воспевал в своей поэзии:

«Люблю зимы твоей жестокой

Недвижный воздух и мороз,

Бег санок вдоль Невы широкой,

Девичьи лица ярче роз».[[53]](#footnote-53)

Вот и мир, который позже Достоевский сделал своим — мир бедных, эксцентриков и гротескных персонажей, которые неизбежно собираются в столичном городе. Здесь были представители всех слоев и сословий, от царя и его придворных (среди которых были и родственники Толстого) до известных бань и баров низкой жизни. Здесь также были интеллектуалы, полностью осознающие, что это город, где Петр Великий намеренно открыл окно в Европу. Это было место, где можно было услышать французский так же часто, как русский, где студенты могли собираться в кабаках, где можно было бы прочитать все последние периодические издания и публикации.

13 февраля, через две недели после прибытия, Толстой написал брату Сергею, что намерен остаться в столице навсегда. Сначала он собирался сдать экзамены по праву, а затем вступить на государственную службу, как это делали все великие Толстые. "Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился; скажешь – «это уже в 20-ый раз, и все пути из тебя нет, самый пустяшной малый»; нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся: прежде я скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь я вижу, что я переменился и говорю: "я переменился".[[54]](#footnote-54)

Странно, но Толстой действительно сел за учёбу и сдал несколько экзаменов по праву в течение нескольких месяцев после переезда в Санкт-Петербург; но уже в следующем письме Сергею, в мае 1849 года, он рассказывает брату печальную историю. Ему срочно понадобилось три тысячи пятьсот рублей серебром, чтобы покрыть долги по азартным играм и на прожиток. Не мог бы Сергей любезно продать небольшое имение, чтобы покрыть расходы? Что касается идеи Льва Николаевича вступить на гражданскую службу, то она, очевидно, была забыта или отброшена. Теперь он собирался вступить в конные гвардии в качестве кадета. К сожалению, он не мог вступить в армию, не говоря уже о получении офицерского звания, без денег. "Бог даст, я и исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком... Не показывай письма этаго тетеньке, я не хочу ее огорчать ".[[55]](#footnote-55)

Но следующее, что узнала тетушка, это то, что Толстой собирался посвятить лето музыке. Музыка всегда было его страстью, и для помощи себе изучить музыку, он привёз домой в Ясную Поляну шумного пьяного немецкого музыканта по имени Рудольф, с которым он столкнулся в одном из кабаков Санкт-Петербурга.

Тётя Татьяна, которая не играла на пианино много лет, начала снова практиковаться и удивила своего племянника точностью и красотой, с которой она играла его любимые произведения: сонату Вебера ля бемоль мажор, а также произведения Моцарта, Гайдна, Баха и раннего Бетховена.

Но тётя была обеспокоена им. Она хотела, чтобы он остепенился, даже если этому будет способствовать роман с богатой замужней женщиной. Она мечтала, чтобы он стал адъютантом царя, но увы... Наступила осень в Ясной Поляне и у Толстого появилось новое увлечение. Он открыл школу для крестьян в Ясной Поляне. Как и большинство его начинаний в тот период, ни к чему эта школа его не привела. Фактически, через пару лет она закрылась из-за нехватки средств. Хотя школа и послужит начинанием, которое станет в последующем его основной заботой.

Ещё одна общественно значимая деятельность, которую он предпринял осенью 1849 года, заключалась в том, что он стал местным мировым судьей. 23 ноября его выдвинули на эту должность в канцелярии Тульской дворянской управы. Толстой переехал в Тулу, весёлый маленький провинциальный городок в нескольких милях от Ясной Поляны. Это было то самое место, где двенадцать лет назад его отец умер на улице. Обязанности Толстого в собрании дворян вряд ли были обременительными.

Фотография, сделанная незадолго до его переезда в Тулу, показывает стройного двадцатиоднолетнего юнца. В следующие двенадцать месяцев на лице появятся усы, он наберет вес, в нем возникнет агрессивность. А пока, в 1849 году, лицо его было отточенным, настороженным. Казалось, что оно могло бы стать костлявым, как у Александра Поупа или Вольтера. Очень короткие волосы Толстого подчеркивают большие, выступающие уши. Полные губы были не просто чувственными, но и насмешливыми. Но самой поразительной чертой были неестественно прямые коричневые волосы, нависавшие над очень тёмными, глубоко посаженными глазами. Это было лицо крайней живости и бдительности. Но оно смотрело на нас, как будто было совершенно чуждо галстуку, сюртуку и дивану. Казалось, оно спрашивало: «Что, черт возьми, я здесь делаю?»



Чувство того, что он был не на своём месте, повторялось в жизни всех великих литературных предшественников Толстого в России, особенно в Лермонтове, чьё произведение «Герой нашего времени», один из самых необычных романов в истории мировой литературы, Толстой прочитал этот роман в тот период. Печорин, «герой», верил, что в «наше время» счастье или моральная уверенность невозможны. Когда он убивает Грушницкого в дуэли, он провозглашает: «Finita la commedia». Смертные, как он говорит в другом месте, могут только переходить от сомнения к сомнению. Так же, как Онегин в предыдущем поколении был сознательной проекцией самого Пушкина, так и в «Герое нашего времени» идентификация между художником и его героем была абсолютной. Белинский, когда впервые встретил Лермонтова в 1840 году, заявил, что Печорин - это Лермонтов.

Тем не менее, у Пушкина и Лермонтова, как и у Грибоедова, романтический эгоцентризм отличался от эгоистичного экстаза Байрона или Шиллера тем, что всегда, на самом деле, делился чем-то со своей аудиторией. В то время как Байрон демонстрировал свои позы в сугубо одинокой манере на радость своим английским поклонникам (и, в самом деле, подобно Уайльду, можно сказать, стал их мучеником), Пушкин, почти несмотря на себя, обнаружил, что его позы находят отклик в каждой русской душе. Романтический герой в русской литературе обнаруживал, волей-неволей, что чем больше он писал о себе, тем больше его читатели чувствовали, что он понимает саму Россию, их общие моральные дилеммы.

Один проницательный английский критик писал: «Печорин знает, что 14 декабря 1825 года над Россией закрылась железная дверь. Для его поколения, кажется, не было выхода. Он был как связанный атлет, гений, который мог стать только чиновником». Всё это говорит о сильной политической приверженности и осведомлённости Пушкина и Лермонтова. Оба они были достаточно взрослыми, чтобы активно сочувствовать декабристам; вариант, который вряд ли был возможен для Толстого, рожденного в эпоху «чиновников». На самом деле, Толстого нельзя «разместить» на каком-либо политическом спектре, так же как нельзя было вписать его в какие-либо круги литературных движений его времени или клеймить его как западника или славянофила. Он действительно был созданием того поколения, в которое был рожден, постоянно переходя «от сомнения к сомнению»; и, поскольку его воспитание и образование отрезали его от интеллектуальных кругов столицы, его путь, начавшийся в одиночестве, продолжался в течение большей части жизни как достаточно одинокое странствие.

На самом деле год в Туле не означал целый год пребывания там. В теплые месяцы он уезжал в Ясную Поляну. По возможности оставался у сестры или друзей. Зимой 1850 года он снова переехал в свою московскую квартиру.

Что нового покажет мне Москва?

Вчера был бал, а завтра будет два.

Эти знакомые строки из «Горя от ума» Грибоедова уже к 1850 году стали поговоркой. Пьеса датируется 1820 годом. «Ум» для интеллектуалов тех двадцатых годов был синонимом радикализма. Именно ум вовлек Грибоедова в декабристские заговоры и привел к цензуре его пьесы. Его ранняя смерть в тридцать четыре года была так же частью его романтизма, как и смерти Пушкина и Лермонтова. Для некоторых русских Грибоедов, а не Пушкин, считался мастером. По определению Блока «Горе от ума» является «возможно, величайшим творением всей нашей литературы... «непревзойдённым, единственным в мировой литературе, не разгаданным до конца, символическим в истинном смысле».[[56]](#footnote-56)

Читатели в западных странах, которые могут быть развлечены циничной салонной комедией Грибоедова, могут найти гиперболу Блока непонятной. Вероятно, не Толстой, который, совсем не «умный» в смысле Грибоедова, вероятно, нашёл бы многое, на что мог бы откликнуться в этой комедии. В отличие от Онегина или Печорина, герой Грибоедова Чацкий — среднего возраста, сорокапятилетний, который всё видел, в некотором роде прустовский персонаж, который, устав и даже отвратившись от высшего общества, всё же не мог от него отказаться.

Широкие гостиные, а не крестьянские избы, вдохновили Толстого на его первую попытку прозы. Весь декабрь он находился в Москве, всё больше увлекаясь азартными играми и посещая как можно больше вечеринок. Затем, к концу месяца, Николай Николаевич вернулся с Кавказа, и Муравьиное Братство начало собираться вновь. Толстой поехал провести Рождество у Николая в доме сестры. Они также воссоединились с Сергеем. После праздников Толстой вернулся в Москву, где снова начался светский круговорот.

Всё больше ему начинала нравиться Луиза Ивановна, жена его кузена Волконского, Александра Александровича. 24 марта он провёл очередной вечер в их доме, играя в карты и неуклюже двигаясь вокруг хозяйки, задержавшись так поздно, что они угостили его ужином, прежде чем он спустился вниз, чтобы попрощаться с терпеливым кучером и отправиться домой пешком на морозе. Эта ночь, по какой-то непостижимой причине, была другой. Возможно, причина была пустяковой. Возможно, он был в нужной степени пьян, или в нужной степени влюблён в идею быть влюблённым в Луизу Ивановну. На следующее утро он проснулся, думая о вечере, и, кажется, провёл день в одиночестве. С 26 по 28 марта он усердно писал, доводя текст до совершенства в течение следующих нескольких дней, а 1 апреля вернулся в Ясную Поляну. Этот рассказ под названием «История вчерашнего дня», так и остался незавершенным.[[57]](#footnote-57)

Элементы гения Толстого были многогранны и многокомпонентны. Как и в случае с другими великими литературными талантами, эти элементы начали сливаться воедино только после периода полного бездействия. «История вчерашнего дня» является одновременно записью о бездействии Толстого и, можно сказать, моментальным снимком некоторых несформировавшихся элементов его гения до того, как они окончательно «срослись» или объединились. Это увлекательное описание того, как он приступил к работе, преобразуя опыт в слова. С одной стороны, это можно рассматривать как простое продолжение его дневника. Он не только описывает реальный вечер, проведённый на вечеринке у Волконских в Москве, но и размышляет о самом дневнике. Вернувшись домой, он предается пиру самоанализа, который так будет знаком читателям его дневников.

Мне часто случалось слышать слова: «пустой человек, живёт без цели»; и сам даже я это часто говорил и говорю не от того, чтобы я повторял чужие слова, но я чувствую в душе, что это нехорошо, и что нужно иметь в жизни цель. Но как же это сделать, чтобы быть полным стать человеком и жить с целью? Задать себе цель никак нельзя. Это я пробовал столько раз и не выходило. Надо не выдумывать ее, а найти такую, которая бы была сообразна с наклонностями человека, которая бы и прежде существовала, но которую я только бы сознал. Такого рода цель я, мне кажется, нашел: всестороннее образование и развитие всех способностей. Как одно из главных сознанных средств к достижению – дневник и франклиновский журнал. В дневнике я каждый день исповедуюсь во всем, что я сделал дурно...[[58]](#footnote-58)

Но «История вчерашнего дня» — это не работа кающегося; не более, чем «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Толстой больше чем немного влюблён в свою кокетливую «старшую женщину», которая является его хозяйкой. Весьма руссообразным образом он посвящает читателя в секрет, что она тоже влюблена в него («Как он мил, этот молодой человек»), и когда муж отвернулся, их флирт становится почти возмутительным.

Герой раннего дневника Толстого — неуклюжий, довольно безыскусный человек, которого трудно полюбить. Герой «Истории вчерашнего дня» начинает быть намеренно комическим персонажем. У него строгое правило не ложиться спать после полуночи, поэтому он встаёт с вечера, чтобы уйти пораньше. Он прощается с хозяином. Но мадам уговаривает его остаться, и он обнаруживает себя стоящим неловко, держа шляпу в одной руке, а другой рукой опираясь на спинку её дивана. Конечно, он остаётся на ужин, но у него нет ни умения, ни смелости — ума, фактически — поддерживать необходимый лёгкий разговор. Он не Чацкий и не предназначался быть им.

Немного погодя муж вышел, должно быть, приказать ужин. Когда меня оставляют одного с ней, мне всегда делается страшно и тяжело. Когда я провожаю глазами тех, которые уходят, мне также больно, как в 5-й фигуре. Я вижу, как мой партнёр переходит на другую сторону, и мне приходится стоять в одиночестве. Я уверен, что Наполеон не мог страдать сильнее, когда перед Ватерлоо саксонцы перешли к врагу, чем я страдал, когда в моей молодости я наблюдал за этой жестокой эволюцией...[[59]](#footnote-59)

Шутка может быть неуклюжей, она может не сработать, но она есть. Отрыв от себя, к которому настоящий дневник был неспособен, здесь превращается в что-то комически и сознательно стерновское.

Толстой впервые прочитал "Сентиментальное путешествие" на французском, но оно так его впечатлило («огромное влияние»), что он вскоре принялся улучшать свой английский, переводя его с оригинала на русский. Это было чисто личное предприятие. Как "Сентиментальное путешествие", так и "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" были опубликованы на русском языке ещё до конца восемнадцатого века. На первый взгляд можно было бы предположить, что пропасть между "Тристрамом Шенди" и "Войной и миром" абсолютна и никакая линия не могла бы соединить их авторов. На данный момент нет доказательств того, что Толстой читал "Тристрама Шенди"; поэтому нет необходимости строить Шенди-Холл в Ясной Поляне, ни указывать, что история Толстого, как и история Тристрама, была завершена в четырех томах ещё до его рождения; нет нужды проводить фантастические параллели между осадой Москвы в 1812 году и несчастиями дядюшки Тоби во время осады Намюра. Нет нужды, увы, связывать материнские фиксации Толстого с непристойной фасцинацией Тристрама Шенди телом его матери и её различными отверстиями.

Однако у нас есть неопровержимые доказательства того, что именно "Сентиментальное путешествие" заставило Толстого начать писать. Привычка разогреваться к написанию, читая английские романы, сохранилась у него до зрелости. Его жена записала в своих дневниках в 1878 году: «А я знаю, что когда чтение переходит у Левочки в область английских романов — тогда близко к писанью».[[60]](#footnote-60) Ничего такого грубого, как имитация, не было в работе зрелого Толстого. Скорее, погружение в разум другого человека, занимающегося аналогичным творческим процессом, освобождало в нём что-то, предоставляя, когда это работало, правильное сочетание отвлечения и импульса.

Он был раздражён, потому что не мог писать; «скучает, что не может писать; вечером читал

Диккенса «Domby and Son», и вдруг мне говорит: «Ах, какая мысль мне блеснула!» Я спросила что, а он не хотел сказать, потом говорит: «Я занят старухой, какой у ней вид, какая фигура, о чем она думает, а надо главное ей вложить чувство».[[61]](#footnote-61)

Ему не занимать чувств у Диккенса, но тем не менее, чтение творений другого великого писателя стимулировало его собственного демона. В незрелом Толстом проявлялось что-то, очень близкое к имитации. Сильный элемент подавленного сексуального желания и фальшиво-наивное флиртование между молодым человеком и немного старшей женщиной многое обязаны Стерну. Так, возможно, обстоит дело и с моментами уединения, но именно в уединении наиболее резко проявляются существенные различия между двумя писателями. Толстой, когда находится в покое, беспокоится о моральной бессмысленности своей жизни, он желает, чтобы у него была какая-то великая цель, и, подобно герою всех великих своих произведений, он стремится овладеть тайнами вселенной в своем слабом обличии. Просто говоря, он жаждет Бога. Не так обстоит дело с «Йориком», которым Стерн оживил свое воображение.

"Увы, бедный Йорик!" - воскликнул я, "что тебе здесь делать? При первом же натиске всей этой сверкающей сутолоки ты обратишься в атом -- ищи -- ищи какой-нибудь извилистый переулок с рогаткой на конце его, по которому не проезжала ни одна повозка и который ни разу не озарялся светом факела -- там можешь ты утешить душу свою сладким разговором с какой-нибудь гризеткой о жене цирюльника и проникнуть в их общество!..."[[62]](#footnote-62)

Огромное очарование Стерна как писателя (снова используя критерий Генри Джеймса) заключалось в том, что он, строго говоря, вообще не писал. Высокая популярность "Сентиментального путешествия" в последние сорок лет восемнадцатого века проистекала из его использования как модели для романтических эгоистов. Стилистически это могло быть написано каким-то похотливым приходским писарем. Книга приходит в руки незавершенной. Читатель выполняет работу писателя за него, находя в ней достоинства, которые читатель сам вложил туда и, следовательно, ценит гораздо выше, чем достоинства другого. Неудивительно, что Стерн пользуется большой популярностью в двадцатом веке, с его манией заставлять читателей выполнять работу писателей, и открывать свой собственный «текст» по ходу дела. К тому же, "Сентиментальное путешествие" привлекательно короткое произведение.

В глазах Толстого пропасть между незавершённой книгой Стерна, которую тот так и не написал, и «шедевром», который мы в ней находим, заполнились его собственными размышлениями о себе. В то время Толстой обрёл себя в основном как читатель. Он начинал понимать себя, представляя себя Онегиным, Чацким, Печориным. В «Истории вчерашнего дня» он переносит своё воображаемое «я» в социальный мир. Результат не лишён комичности, часть которой сознательна, как, например, в его застенчивых попытках поговорить с Волконской, и часть ещё бессознательна, в режиме дневника: его умные замечания о том, как вести себя в обществе, его позы человека света. Но здесь есть и другие аспекты. Выходя в позднюю московскую ночь и встречаясь с кучером по имени Дмитрий, рассказчик описывает, как мы можем услышать, как кучера и сторожа кричат друг другу в холодном воздухе. Эти моменты предсказывают тот уровень мастерства, который Толстой достигнет в своём творчестве, и дают нам представление о глубине его таланта, с которым у писателя были столь бурные отношения. В тот миг эти отношения не представляли особой опасности, ведь Толстой ещё не осознавал всей полноты своего таланта. В «Истории вчерашнего дня» не угадывается ни тени осознания Толстым своего истинного таланта — шекспировской способности воссоздать мир во всей его природной правдивости, внешней реальности и внутренних переживаниях его жителей. Нигде в тексте не видно, что он понимал, что он делает, творя это произведение. В его заикающейся неуклюжести, в этом сплаве непреднамеренной комедии и глубокой моральной серьёзности, текст мог бы принадлежать перу Пьера Безухова, того самого неповоротливого героя *«Войны и мира»*, и в некотором смысле, так оно и есть..

Холод — отсутствие тепла. Тьма — отсутствие света, зло — отсутствие добра. — Отчего человек любит тепло, свет, добро? Оттого, что они естественны. — Есть причина тепла, света и добра — солнце, Бог; но нет солнца холодного и темного, нет злого Бога. Мы видим свет и лучи света, ищем причину и говорим, что есть солнце: нам доказывает это и свет, и тепло, зак тягот. Это в мире физическом. В моральном мире видим добро, видим лучи его, видим, что такой же зак тяготения добра к чему то высшему и что источник — Бог.[[63]](#footnote-63)

В его начале был его конец. В лучшем искусстве Толстого — например, в создании образа Пьера Безухова — говорить о Боге так же естественно, как описывать мороз или брички. Но, как и в конце, в самом начале существует напряжение между спонтанностью его искусства и требованиями души. Судьба готова обрушить на этого неожиданного носителя дары воображения, которые почти не имеют себе равных. Он боится их, несмотря на их благословение.

Истинная литературная ирония этого произведения заключается в том, что оно столь же самопротиворечиво, как и любое произведение, написанное парадоксальным Стерном. Его парадокс абсолютно бессознательный. Повествователь выражает сожаление и самоненависть из-за того, что у него нет цели в жизни и он не знает, что делать. Но именно в описании своего затруднения и превращении его в нечто, что на полпути к искусству, он обнаруживает свою «цель в жизни». Совершенно неожиданно и вклиненное между социальными мероприятиями поразительной тривиальности, призвание Толстого как писателя пришло. Справедливо тётя в «Утро помещика» говорила, что мы чувствуем наше призвание только тогда, когда уже ошиблись в его выборе. С этого момента существование Толстого нужно понимать в контексте того, что он писал или не писал.

Литературные историки, стремящиеся быстро перейти к великим произведениям Толстого, легкомысленно писали об «Истории вчерашнего дня». Но они также писали вводяще, как будто основной интерес состоял в том, что это было чудом, ложным предвестником, обещающим появление Пруста или Джойса. Далеко не будучи протомодернистским, фрагмент на самом деле намекает (с его долгами и аллюзиями на Стерна и Руссо) на мир литературных мод и моделей, которые по стандартам Западной Европы были как минимум на полвека устаревшими. Но «История вчерашнего дня» действительно возвещает о новой звезде на литературном небосводе; о романисте, который почти ничего не имеет общего с Прустом или Джойсом; то есть о авторе «Анны Карениной» и «Войны и мира».

1. Гусев (1954). За исключением случаев, когда указано иное, все биографические сведения в этой книге взяты из пяти монументальных томов Гусева. [↑](#footnote-ref-1)
2. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 106 [↑](#footnote-ref-2)
3. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 271 [↑](#footnote-ref-3)
4. Две увлекательные семейные хроники, написанные родственниками, это книги Сергея Толстого (1980) и Николая Толстого (1983). Особенно рекомендуется последняя. [↑](#footnote-ref-4)
5. Кранкшоу (1976) 18 [↑](#footnote-ref-5)
6. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 183-98 и Улам (1081) 3-66 [↑](#footnote-ref-6)
7. Волконский [↑](#footnote-ref-7)
8. Пушкин III.7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Улам (1981) 65 [↑](#footnote-ref-9)
10. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 375 [↑](#footnote-ref-10)
11. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 376 [↑](#footnote-ref-11)
12. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 384 [↑](#footnote-ref-12)
13. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 386 [↑](#footnote-ref-13)
14. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 211 [↑](#footnote-ref-14)
15. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 357 [↑](#footnote-ref-15)
16. Де Жонг (1972) 70 [↑](#footnote-ref-16)
17. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 395 [↑](#footnote-ref-17)
18. Зернов (1945) 57 [↑](#footnote-ref-18)
19. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 32, 99 [↑](#footnote-ref-19)
20. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 387 [↑](#footnote-ref-20)
21. Гусев (1954) [↑](#footnote-ref-21)
22. Фишер 23 [↑](#footnote-ref-22)
23. Аксаков 25 [↑](#footnote-ref-23)
24. Герцен 94 [↑](#footnote-ref-24)
25. Маккензи-Уоллес II.6 [↑](#footnote-ref-25)
26. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 370 [↑](#footnote-ref-26)
27. Загоскин 91 [↑](#footnote-ref-27)
28. Зборилек 6 [↑](#footnote-ref-28)
29. Руссо 249 [↑](#footnote-ref-29)
30. Руссо 278 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ватсуро 1.46 [↑](#footnote-ref-31)
32. Нужин 33 [↑](#footnote-ref-32)
33. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 171 [↑](#footnote-ref-33)
34. Аксаков 25 [↑](#footnote-ref-34)
35. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 171 [↑](#footnote-ref-35)
36. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 171 [↑](#footnote-ref-36)
37. Шкловский 81 [↑](#footnote-ref-37)
38. Симмонс 69 [↑](#footnote-ref-38)
39. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 32 [↑](#footnote-ref-39)
40. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 127 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ранние биографы Толстого, такие как Бирюков, либо не знали, либо умалчивали тот факт, что у Толстого было венерическое заболевание. Из современных биографов, Симмонс утверждает, что «мысль о том, чтобы покинуть Казань, не вызывала у Толстого сожалений», что, вероятно, верно. Мартин де Курцель сообщает, что «университетские программы казались ему всё более нелепыми», однако доказательств этому утверждению нет. Анри Труайя предполагает, что у Толстого «внезапно было откровение, что он больше не может продолжать учебу на юридическом факультете». Труайя также упоминает, что Толстой был болен, но болезнь «не была серьезной». Однако Труайя не уточняет, чем именно болел Толстой. [↑](#footnote-ref-41)
42. Кранкшоу (1976) 73 [↑](#footnote-ref-42)
43. Пайпс 78 [↑](#footnote-ref-43)
44. Гусев (1954) [↑](#footnote-ref-44)
45. Дневник, 10 марта 1906 г. [↑](#footnote-ref-45)
46. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 44, 182 [↑](#footnote-ref-46)
47. Дневник Толстого, 17 апреля 1847 г. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ватсуро, II, 97 [↑](#footnote-ref-48)
49. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 4, 123 [↑](#footnote-ref-49)
50. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 4, 164 [↑](#footnote-ref-50)
51. Пушкин, «Евгений Онегин» I, 54 [↑](#footnote-ref-51)
52. Дневник, 14 июня 1947 г. [↑](#footnote-ref-52)
53. Пушкин, Медный всадник [↑](#footnote-ref-53)
54. Письмо С.Н.Толстому, 13 февраля 1949 г. [↑](#footnote-ref-54)
55. Письмо С.Н.Толстому, 1 мая 1948 г. [↑](#footnote-ref-55)
56. Мирский, 254 [↑](#footnote-ref-56)
57. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 279 [↑](#footnote-ref-57)
58. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 289 [↑](#footnote-ref-58)
59. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 289 [↑](#footnote-ref-59)
60. Дневник С.Толстой, 23 октября 1878 г. [↑](#footnote-ref-60)
61. Дневник С.Толстой, 06 ноября 1878 г. [↑](#footnote-ref-61)
62. Стерн «Сентиментальное путешествие», 48 [↑](#footnote-ref-62)
63. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 290 [↑](#footnote-ref-63)